

Российская Академия Наук
Институт философии

И.Е.Кознова

**XX ВЕК В СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ
РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА**

Москва
1999

ББК 63.3(2)
УДК 321.925
К-59

Ответственный редактор
С.А.Никольский

Рецензенты:
доктор филос. наук *Н.Н.Козлова*
доктор филос. наук *П.И.Симуш*

**К-59 Кознова И.Е. XX век в социальной памяти
российского крестьянства. — М., 2000. — 207 с.**

XX век стал для крестьянства веком глубинных потрясений, оставил в его памяти глубокий след. Менялось крестьянство — не оставалась неизменной и его память.

В монографии на основе архивных и опубликованных материалов, прежде всего документов личного происхождения, семейных историй в традициях Oral History, в том числе почерпнутых автором в общении с современными жителями села Центра и Севера России изучается память на уровне событийной ретроспекции — «История XX века глазами крестьян», и на уровне универсальном — самосознания и поведения крестьян, видящих в собственном прошлом ключ к настоящему.

ISBN 5-201-02020-8

©И.Е.Кознова, 2000
©ИФРАН, 2000

Благодаря памяти прошедшее входит в нас,
а будущее как бы предугадывается настоящим

Д.С.Лихачев

ВВЕДЕНИЕ ПАМЯТЬ И КРЕСТЬЯНСТВО

Замечено: всегда есть несколько преобладающих воспоминаний, ярких точек, вокруг которых все остальное меркнет и бледнеет. Эти яркие точки способны разрастаться по мере расширения нашей памяти. У исследователя памяти таких ярких точек, на первый взгляд, множество. За каждой из них — свой мир, индивидуальный или коллективный. Вполне понятно, что символы и знаки этого другого мира и мира исследователя могут пересечься или совпасть, оказаться созвучными друг другу. Однако случаются совпадения, способные превратить обычные архивные поиски «документов жизни» в нечто большее. Тогда память нарратива и память исследователя превращаются в метафору. Так произошло с автором этой книги...

* * *

Кажется, что прошлое — мертво. Тем не менее знание прошлого существует в настоящем. Силу ему дает память. Память — фундаментальное проявление человеческой жизни. Без памяти социальная жизнь, самая характерная черта человека, была бы невозможна. Память — это способность сохранять определенную информацию; она основывается прежде всего на группе психических функций, благодаря которым человек мо-

жет вновь осовременить прошлые впечатления или информацию, которую он считает прошлой^{1 2}. В широком смысле различаются несколько типов памяти: биологическая (генетическая), социальная (коллективная, историческая, этническая) и искусственная. Память действует на нескольких уровнях: во-первых, это индивидуальная память на основе индивидуального, личного, пережитого опыта; во-вторых, индивидуальная память на основе непережитого опыта; затем — коллективная память. В особом отношении с памятью находится история — толкование прошлого специалистами.

Как известно, каждая эпоха оставляет в памяти свой след: одна — бледный, слабый и поверхностный, другая — сильный и глубокий. При этом замечено, что бурные эпохи оставляют в памяти людей более яркий и глубокий след, чем мирные и спокойные времена. По словам Марка Блока, «мирная преемственность социального существования менее благоприятна для передачи памяти»³. Так ли это?

Кажется, этим вопросом задался сам XX век, в центре интеллектуальных интересов которого оказалась важнейшая для человечества проблема: что есть память.

Отношения XX века с памятью непросты. XX век в равной степени можно связать и с памятью, и с забыванием. В реальной действительности он явно и особенно ярко продемонстрировал совершенно противоположные способы действия памяти отдельных людей, групп и обществ, а также способы распоряжения этими памятьями, включая насильственные. С другой стороны, интеллектуальная традиция осмысления и описания феномена памяти, существовавшая в европейской культуре еще со времен античности⁴, именно в XX в. получила новый импульс. На протяжении XX в. изменились и расширились как сами возможности памяти (наиболее яркий пример — появление электронной памяти), так и способы ее изучения и описания, интенсивно формировался дискурс памяти.

Причин, по которым метафорой XX века вполне может быть признана сама память — несколько.

Ряд связанных между собой обстоятельств повлияли на возникновение темы памяти вначале как темы Модерна. Интерес к памяти возник в европейском обществе как раз тогда, когда сформировался облик современной цивилизации и одновременно возникли симптомы «недовольства» этой цивилизацией и ее проявлением в человеке. Это становление сопровождалось утратой традиций, разрушением аграрного общества, относительно устойчивого, привычного уклада. С переходом от традиции к модернизму множество анонимных индивидов, социальных атомов, лишенных связей между собой, начинают действовать в обществе. Модерн — это общество индивидов. Однако их действия оказались взрывом «возбуждаемой народной массы, бурной, необузданной и податливой»⁵. Главной характерной чертой эпохи становилась «замена сознательной деятельности индивидов бессознательной деятельностью толпы»⁶. XX век, век толп, растворял индивида в массе.

Проблематичность Модерна, рост психологической напряженности, появление все большего числа случаев отклонения от нормы в поведении людей — фон, на котором вырастала тема памяти. Возможность сойти с ума представлялась реальной. При этом существовали области, где вхождение в Модерн осуществлялось в первую очередь через репрессивные дисциплинарные практики. Осмысление этого процесса в XX в. привело к мысли, что память — это своеобразная «запись законов на теле»⁷. Однако еще Ф.Ницше в конце XIX в. попытался представить память как древний и сильнейший социальный инструмент наказания, кары, возмездия. Сотворение памяти с помощью боли —⁸. Тема памяти оказалась весьма плодотворной для объяснения поведения индивидов и масс.

Уже в начале столетия рефлексия по этому поводу стала неперенным атрибутом философских исследований (А.Бергсон), психологии (З.Фрейд), литературных автобиографий (М.Пруст), где память рассматривалась как способность индивидуального сознания.

Память по А.Бергсону — это образ прошлого. Однако память, как неоднократно пытался обосновать на страницах своей книги Бергсон, состоит вовсе не в возвращении к прошлому, а наоборот, в передвижении прошлого в настоящее. Более того, память сжимает в единой интуиции множество моментов времени. Поэтому «формула памяти» звучит как «синтез прошлого и настоящего в виду будущего»⁹. А.Бергсон выделил две формы памяти, первую из которых он определял как память естественную для жизни, ориентированную в соответствии с природой, основанную на повторяемости, продукт полезного действия былых образов до настоящего момента, память=привычку тела, связанную с деятельностью мозга, или «скорее, привычку, освященную памятью, чем память», которая «разыгрывает наш прошлый опыт, но не вызывает его образа». Роль тела здесь — не накапливать воспоминания, а выбирать только полезное, необходимое в данный момент. Поэтому прошлое ценно в здесь как элемент ритуала, своей включенностью в настоящее.

Вторая память выступает как отвлечение от настоящего, она носит характер грез, мечтаний, эта память воображает. Все события жизни всплывают как образы=воспоминания. Образная память — это свойство духа и проявление прошлого. Большинство воспоминаний связано с событиями прошлого, которые не повторяются. Прошлое оказывается ценным само по себе, как предмет воспоминаний, причем ценным в разной степени, субъективно для каждого. Эту вторую память А.Бергсон и называл собственно памятью: «сорастяжимая с сознанием, она удерживает и располагает одно за

другим все наши состояния, по мере того, как они наступают, оставляя за каждым фактом его место, то есть обозначая его дату; она действительно движется в окончательном прошлом, а не как первая в непрерывно začínающемся настоящем¹⁰.

Нормально, если обе памяти действуют согласованно, они создают определенное равновесие¹¹. «Нарушение равновесия памяти» — вот диагноз, который ставится больному человеку.

Этот диагноз может стать и симптомом нездоровья всего общества. Моральные потрясения веры в самих себя и в человеческую доброту, вызванные военными катастрофами начала века, требовали поиска устойчивости и определенности. Современность, обрекающая человека на одиночество, таких оснований не давала. «“Современный” человек всегда одинок, ибо каждый шаг к более высокому и более широкому сознанию отдаляет его от изначальной, чисто анималистической *participation mystique* с толпой, от погружения в общее бессознательное»¹².

У этой проблемы есть и другая сторона. Наметившийся еще в XIX в. интерес к коллективным представлениям (Э.Дюркгейм), коллективной психологии (Г.Лебон, Г.Тард) неминуемо должен был соединиться с исследованиями в области памяти. Так был сделан следующий шаг, и память оказалась в центре внимания психологии (З.Фрейд, К.Г.Юнг, В.М.Бехтерев, Л.С.Выгодский, А.Н.Леонтьев), социальных наук (М.Хальбвакс, П. Жане, Н.А.Бердяев, Р.Барт, К.Беккер) с точки зрения коллективного, а также связи индивидуального и коллективного. «Открытие» коллективного бессознательного стало по сути открытием всеобщей человеческой прапамяти, и, вероятно, поэтому оно «невзирая на свой ужасающий облик, обладает огромной притягательной силой»¹³.

Систематическую концепцию коллективной памяти создал М. Хальбвакс, сконструировавший связь между социальной группой и коллективной памятью. При этом

любые воспоминания являются реконструкцией, а не репродукцией прежнего опыта. В серии своих исследований он отметил, что каждая память, которой обладает каждая социальная группа, ограничена во времени и пространстве¹⁴. П. Жане подчеркивал социальный характер памяти, неразрывную связь ее с развитием языка. Он представлял память специфическим действием, отличным от автоматического повторения, приводящего к образованию навыков. С памятью связан совершенно особый тип человеческого поведения¹⁵.

Конечно, социальные группы не могут помнить (в физическом смысле) — это исключительно способность индивида. И, конечно, люди не могут помнить события, в которых не принимали участия. Однако, как замечено, «не нужно штурмовать Бастилию, чтобы отметить 14 июля как символ национальной идентичности»¹⁶. Именно память позволяет нам понять, как люди конструируют прошлое, в котором они не принимали участия непосредственно, но представления о котором разделяют с другими членами группы как установленное значение культурного знания и традиции. По мнению С.Московичи, «впечатления прошлого сохраняются в психической жизни масс равным образом в форме мнемстических следов»¹⁷.

Вторая половина нынешнего столетия, особенно 70-80-е годы, отмечены повышенным интересом к памяти. При этом теоретическое осмысление¹⁸ шло параллельно с конкретными исследованиями¹⁹.

По мере изучения памяти сложилось общее представление о том, что, во-первых, память общества, коллективная память находится вне индивидуального уровня; во-вторых, память — это культурная конструкция. Понимание процессов культурных изменений в любых областях предполагает понимание социальной памяти. Тем самым изучение социальной памяти — часть более широкого междисциплинарного интереса в изучении культурных практик.

Все исследования в области социальной памяти сосредоточены на нескольких общих задачах.

Наиболее общая — определение социальной памяти. Вероятно, какое-либо общее, единое определение вообще невозможно. Далее следует назвать задачу изучения специфики социальной памяти для различных событий или исторических периодов. И, наконец, влияние социальной памяти на другие социальные, политические и культурные практики.

Однако прежде всего следует отметить, память исторически меняется. Во-первых, сами специфически человеческие формы памяти появились как продукт исторического развития психики²⁰. Во-вторых, сама память в человеческом обществе обладает динамикой²¹. «Мы должны знать, — пишет П.Нора, — о разнице между правдой памяти, которая вынуждена спасаться в жестах и привычках, в искусствах, ремеслах, передаваемых устной традицией, в наследстве самосознания самого тела, в неустановленных рефлексах и закоренелых памятях и памятью, трансформирующейся через прохождение сквозь историю, которая является практически противоположной первой — волюнтаристской и намеренной, воспринимаемой как обязанность, а не спонтанной, психологически индивидуальной и субъективной, но никогда — социальной, коллективной»²².

Следует обратить внимание на следующее обстоятельство. В исследованиях памяти преобладает точка зрения (идушая во многом от концепции Э.Дюркгейма о коллективных представлениях), согласно которой социальная память — исключительно память коллективная. Тем самым индивидуальное оказывается как будто вне социального, то есть социальное характеризует не отдельного индивида, а только различные общности людей. Между тем человеческий индивид и его психика изначально и всегда социальны. Социальность многообразна и проявляется в разных формах²³. Другое

дело, что (по Дюркгейму) общество — это реальность, которая не сводится к совокупности индивидов. Так же и память общества, коллективная память не сводится к сумме памятей индивидов.

При историческом изучении памяти необходимо особо подчеркнуть различие между обществом с преимущественно устной памятью и обществом с преимущественно письменной памятью. Первое, на что было обращено внимание, это существование по крайней мере двух форм памяти — архаической, то есть памяти традиционного общества, и памяти современного общества (Модерн). Те, кто пишут о памяти, так или иначе пытаются проникнуть в суть этих различий. Черты обеих форм памяти обнаруживаются как в прошлом, так и в настоящем — в памяти общества, группы, отдельного человека, и все же можно вести речь о преобладании во времени и пространстве той или иной формы памяти.

Прежде всего архаическая память (память традиционного или примитивного общества) — коллективная, она и проявляется как коллективная. В литературе как уже упоминалось, отмечается тождественность понятий «коллективная» и «социальная» память. Память современная — прежде всего индивидуальна и субъективна.

У архаической памяти нет ярко выраженного начала и конца, здесь действует круговое время, причем прошлое по сути неизменно, священо, а настоящее и будущее повторяют прошедшее и все три временных регистра способны поменяться местами. Здесь все знакомо и определено, а потому правит ритуал. Архаическая память выражает себя в жестах, привычках, умениях и навыках. Эта такая память, о которой А.Бергсон писал как о памяти-привычке тела. Подобная память особенно предрасположена к сохранению практических и технических знаний, к специальным знаниям. Происходит передача секретов различных профессий из поколения в поколение в рамках отдельных профес-

сиональных групп. Более того, в обществах с преобладанием устной традиции имеются специалисты по воспоминаниям, «люди-память»: генеалоги, блюстители королевского кодекса, придворные историки, хранители традиций. Сюда же следует причислить стариков – глав семейств, бардов, священнослужителей. Твердое и прочное прошлое архаической памяти не исключает того, что передача информации здесь происходит не дословно, а с отступлениями, искажениями и вариациями (пример – различные версии мифов и легенд). Как отмечает Ж.Ле Гофф, точная память здесь не нужна – «она менее полезна и менее ценна, чем результат, который достигается из практики, опираясь на усвоенную информацию о прошлом». Коллективная память в дописьменном обществе отличается, по мнению Ж.Ле Гоффа, большей свободой. Это – не механическая, а творческая память²⁴. С развитием письменности репродуктивная память, сохраняется, но перестает играть ведущую роль.

На смену нерефлексирующей памяти, памяти-обычаю в традиционном обществе, в современном обществе приходит память, основанная на индивидуальном восприятии, связанная с индивидуальной биографией, которая отражает социальную мобильность в обществе. Память приобретает характер единичного, хотя и включает в себя как индивидуальное, так и коллективное. История жизни может быть прочитана как запечатленные в памяти факты.

Современная память – это память воспоминания, реконструкции, продолжения, но не повторения. В современной памяти появляются временные границы; ей свойственно ставить конкретные вехи на шкале времени: «до» и «после», «раньше», «позже», «теперь». Здесь постоянно разрушается знакомое; прошлое – иное, зачастую непредсказуемо; будущее, вытекающая из настоящего, столь же многомерно.

Если архаическая память спонтанна, то современная — намеренна и специально организована. Первая может не иметь вещественного выражения, она в своей основе — устная и ритуальная, в то время как вторая — преимущественно письменная, документально подтвержденная, основана на материальных следах, немедленном воспроизведении, видимых образах. То, что начинается с письма, заканчивается высокой точностью в буквальном воспроизведении (например, в магнитофонном). Поэтому если в одном случае «институтами» памяти являются традиции и обычаи, то во втором — архивы, музеи и т.п.

Все это — лишь общие, условные критерии разделения форм памяти. Это вовсе не значит, что архаическая память свободна от попыток манипулирования ею, а современная память не находит своего выражения в коллективной памяти. Архаическая память проявляет себя в мифе и выражается им же, современность не менее мифологична, чем древность. Память в традиционном обществе имеет, естественно и материальное, вещественное выражение, а общество современное не прочь изобрести традицию или расширить свою память с помощью новейших масс-медиа, использующих не только письмо, но слова, звуки, образы и прочее.

Историческая трансформация памяти сформировала дискурс памяти. Однако при этом важен исторический контекст, в котором он развивается. В западном обществе в одних случаях это ощущается как признак ухода памяти или ее потери (П.Нора), в других — как свидетельство приобретения памятью в современном обществе еще большей значимости, чем в обществе традиционном (Дж. Нерон).

В России причины появления исторического аргумента в публичных дискуссиях коренятся в своеобразной культурно-духовной атмосфере последних полутора десятилетия лет, связанной с переменами во власти и обществе. При этом с историческим аргументом про-

изошли определенные метаморфозы: стремление общества насытить свою историческую память, «очистить» ее, восстановить «искаженную» память вылилось в процесс поиска идентичности — всем обществом и отдельными его группами, прежде всего политическими и этническими, в появлении ностальгии по «ненаписанной истории» и «непройденному прошлому»²⁵.

Таким образом, дискурс памяти возникает так или иначе, когда каждая общность или каждое общество в определенный момент, в «свое» время переживает состояние «разрыва» с прошлым. Вместе с тем, если Модерн не только демонстрировал разрыв с традицией, но и реально порывал с ней, то Постмодерн пытается преодолеть этот разрыв. Поэтому причина повышенного интереса к памяти видится, в частности, в том, что память теряется, уходит, а встревоженное и опомнившееся человечество судорожно пытается ее сохранить. «Мы говорим так много о памяти, — отмечал П.Нора, — так как очень мало от нее остается»²⁶. В конечном счете с самой памятью произошло нечто подобное, что происходит с обществом, когда его настоящее оказывается неустойчивым и нуждается в определенных подпорках. Тогда общество призывает на помощь память и пытается с ее помощью расставить ориентиры на шкале «прошлое-настоящее-будущее».

Складывание современных социальных наук прямо отразилось на памяти. Появилась новая область исследований — изучение ментальности. Существует тесная взаимосвязь между ментальными установками людей, их памятью и поведением. Ментальность — это непрерывный опыт (память) социума, цепь опытов поколений. Ментальность как память передается в виде врожденных психических, логических, лингвистических и других образов и структур, а также в виде текстов. Ментальные установки людей определяют характер и

особенности исторического процесса. Представление о них связано с реконструкцией «картины мира», в которой свою нишу имеет память²⁷.

Современное же общество постоянно находится в поиске того, насколько память, которая относится вовсе не к прошлому, а выражает отношения «прошлое-настоящее», в действительности объясняет настоящее. Достаточно привести различные определения памяти, чтобы представить вектор этого поиска.

В трактовке социальной памяти отечественными исследователями заметно стремление обозначить ее не только как определенным образом существующую информационную систему, а значительно шире — как социальный опыт человечества. В этом смысле оказываются тождественными понятия «культура» и «память», то есть культура выступает как социальный опыт или социальная память человечества, или «внегенетическая память коллектива»²⁸.

Схожие оттенки звучат в работах западных исследователей. Так, память определяется как «чувство прошлого»²⁹; «то, что из прошлого уцелело в жизни определенных групп или как то, что эти группы сделали из прошлого, сохранение прошлого в настоящем»³⁰; «диалог, процесс создания значений для специально сконструированного, искусственно созданного прошлого»³¹; «искусственное (намеренное) воспоминание о некотором опыте — групп, институций или индивидов в обществе, организованное в соответствии с признанной традицией и имеющая моральное измерение»³²; «символическое представление о традиции и о прошлом, возникающее в контексте социальный действий; выдумывание прошлого»³³. Как было замечено, «хотя мы не всегда способны дать определение каким-либо вещам или явлениям (например, в случае с памятью это сделать так же сложно, как — по аналогии — дать определение непристойности) наша интуиция подсказывает нам, и мы знаем, что это именно память, когда видим ее»³⁴.

Социальная память — это не столько воспоминание о прошлом, сколько процесс конструирования прошлого (в том числе на основе воспоминаний), воображаемое прошлое. Образ жизни — это тоже память. Иными словами, память — символическое представление о прошлом. Следовательно, память одновременно и настоящее.

Для понимания исторических инвариантов памяти важно представление отношений, складывающихся между историей и памятью. Эти отношения наиболее полно были описаны М.Хальбваксом и П.Нора как исторически определенная форма социальных практик. Их основной аргумент заключался в том, что память принадлежит досовременному обществу, где традиция была сильна и память выполняла роль социальной практики, в то время как дисциплина история, возникшая в XIX в., принадлежит современному обществу (обществу Модерна), где традиция отрицается и отношение с прошлым обрубается до понятия «ускорение истории»³⁵. М.Хальбвакс различал историю как научное толкование прошлого и память как условное или приблизительное толкование прошлого. Для П.Нора история и память были объединены, то есть представляли одно и то же до XIX в. И потом — разделены. Соответственно он различает предмодерн-память как социальную практику, *milieu* — среду памяти и модерн-память как сознательную, намеренную умышленную. П.Нора считает, что память растет по мере уменьшения социальной практики, возникает потребность помнить то, что отсутствует.

Соглашаясь с П.Нора в существовании фундаментальных различий между памятью в Модерне и памятью до Модерна и отмечая, что первая существует в распространяемой масс-медиа, коммерциализации растущего числа коллективных памяти, превращении прошлого в товар для массового потребления, А.Конфино подвергает сомнению позицию Нора о том, что группы людей в обществе Модерна не создают память, основываясь на социальных практиках. Идея, что мы

живем в эпоху индустриальной истории, которая пришла на место памяти как социальной практики, кажется А.Конфино рефлексией в обоих случаях — как веры в символ научной истории (Хальбвакс) или ностальгирующий взгляд на безконфликтное естественное отношение между народом и его прошлым (Нора) ³⁶.

История — профессиональное исследование, появившееся в западных обществах в XIX в., наука с определенным набором правил для изучения прошлого. Задача истории — систематическое изучение документальных свидетельств. Точность, стандарты отбора и использования документов, внимание к исторически значимым свидетельствам определяло стремление возвысить профессиональную историю над социальной памятью как путь публично предполагаемого прошлого. Народная память была отнесена к мифологии. В итоге, разрыв между историками и обществом увеличился, вплоть до признания кризиса истории. Профессиональная практика, таким образом, способствовала отчуждению истории от социальной или народной памяти. Вместе с тем память по-прежнему остается таким же важным феноменом в современных обществах, как и в традиционных ³⁷.

Утрата равновесия между историей и памятью, как представляется П.Нора, — следствие «ускорения истории». Поскольку Нора подчеркивает отчуждение между историей и памятью, его характеристика истории и памяти строится на оппозиции: «*Память* есть жизнь, ее носители — живые группы людей. Память постоянно эволюционирует в открытой диалектике воспоминания и забвения. Эта диалектика бессознательна в своих непрерывных смещениях и искажениях, она способна пребывать в застылом состоянии, но так же способна к внезапному оживлению. *История* — это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, что не имеет продолжения, что прошло, тогда как *память* — актуальный феномен, вечная связь с настоящим. *Память* —

аффективна и магична, она оперирует только с теми фактами, которые удобны ей, она лелеет воспоминания. В сердце интеллектуально и светски ориентированной *истории* — критический дискурс, который противоположен спонтанной *памяти*. *Память* возводит воспоминание в святыню, тогда как история вытесняет воспоминание и делает его прозаическим. *История* непрерывно подозрительна по отношению к *памяти* и ее настоящая миссия — подавить и разрушить *память*. Источник памяти — в группе, которую она объединяет (*ссылаясь на М. Хальбвакса, П.Нора отмечает, что памятей — столько же, сколько групп — И.К.). *Память* по природе многообразна и очень специфична, коллективна, плюральна и индивидуализированна. *История* же, напротив, принадлежит всем и никому, и это определяет ее направленность к универсальному. Если *память* коренится в конкретном — в пространстве, жесте, образе и объекте, то *история* соотносится только с временными непрерывностями, с эволюцией и смещающимися отношениями вещей. Наконец, *память* абсолютна, а *истории* ведомо только относительное»³⁸.

Таким образом, если история, согласно П.Нора, всегда относится к прошлому, то память выступает как актуализированное прошлое и, значит, является настоящим. Для историка прошлое ценно само по себе, для исследователя памяти прошлое ценно прежде всего своим отражением в ней. Являясь разными, но все же процессами конструирования прошлого, история и память нуждаются друг в друге. И все же история и память взаимодействуют в живом процессе, где «память диктует, а история пишет».

С одной стороны, общество стремится построить консенсусное представление о своем прошлом, в то же время прошлое постоянно пересматривается экспертами, профессиональными историками. С другой сторо-

ны, поскольку социальная память (памяти) часто меняется, особенно в периоды катаклизмов, являясь в равной степени продуктом консенсуса и конфликта, существование профессиональных памятей, разведенных от социальных памятей, создают условия для стабильности и в то же время могут нейтрализовать «неистовые» социальные памяти³⁹.

Современный итог отношений между историей и памятью — смена существовавшей некогда уверенности в обязательной повторяемости всего на ощущение, что все и вся может исчезнуть. В определенный исторический момент сознание разрыва с прошлым оказывается острым и переплетается с чувством, что память оборвана. Общество, живущее всецело под знаком истории, вынуждено отмечать определенные места, *les lieux de memoire* — «места памяти» как результат «игры» между историей и памятью, и воплощаться в них для закрепления памяти и укоренения в ней. Возникновение «мест памяти», где память кристаллизуется и сохраняет себя, в определенном смысле может рассматриваться как крайнее, пограничное с амнезией, состояние. Подстреканное желанием помнить — сознательной попыткой ограничить забывание — общества создают «места памяти» — результат взаимодействия между историей и памятью, между индивидом и коллективом⁴⁰.

«Места памяти» — это не только то, что осталось от прошлого, то есть самые конкретные места (национальный архив, памятники людям или событиям, здания), это и самые абстрактные создания человека (язык, церемонии, юбилеи), и даже отдельные люди — символы, носители, воплощения исторической памяти. «Места памяти» могут быть историческими или легендарными, но они всегда, как и память — священны. Появление «мест памяти» означает, что огромный фундамент памяти разрушается (более того, по мнению П.Нора в целом цель и амбиция истории — не возвеличить, но уничтожить память).

Поскольку традиция памяти исчезает, общество чувствует себя обязанным сохранить и собирать свидетельства. «Места памяти» и связанные с ними мероприятия создают ритуалы в современном безритуальном обществе. Каждое общества создает воображаемые прошлые для настоящего. Создание «мест памяти» — это и изобретение традиций⁴¹. Важно, что «места памяти» — это специально организованная память. Возможно, что если памяти, которые «места» защищают, существовали бы свободно, эти «места» были бы не нужны. Но эти «места» есть, поскольку существует угроза разрушения памяти. Тем самым поддерживается и чувство продолжения истории. В конечном счете Нора пришел к полемичному выводу: «то, что мы называем памятью сегодня — это таким образом не память, а уже история. То, что мы называем вспышками памяти, является фактическими болезненными всхлипами. Поиски для памяти становятся поиском чьей-либо истории»⁴². В определенном смысле, сама память становится «местом памяти».

* * *

Значит ли это, что память — и социальная память в особенности — естественное и нейтральное воспоминание прошлого? Как и все социальное — памяти создаются человеческим бытием. Поскольку социальная память — это культурная практика, она широко изменяется, варьируется в зависимости от времени и места. Существуют прежде всего социальные *памяти* для каждого события, практики, эпохи или символической сущности. Социальная память разбросанна, многословна и эклектична. Люди постоянно переделывают, пересоздают сами категории, в рамках которых они вспоминают прошлое. Раса, класс, гендер, этничность, происхождение, государственность — все это создает исторически конструируемую память.

Множество интересов способны повлиять на формирование социальной памяти и прервать его. При этом происходит манипуляция (придание забвению одного и выпячивание другого) как той, так и иной. Это манипулирование отражает интересы и политические устремления отдельных классов, социальных групп и индивидуумов⁴³. Память становится активным инструментом политики властей, посредством памяти создаются коллективные образы. Каждый великий исторический пересмотр ищет оснований в коллективной памяти. Исследования показывают, что традиция в целом в современных обществах основана на сознательных действиях⁴⁴.

Вопреки обыденному представлению, что прошлое зафиксировано раз и навсегда и неизменно, следует отметить, что социальная память формируется в контексте. Социальная память избирательна: чаще вспоминаются только некоторые события, выборочно используется и опыт. «Воспоминание о прошлом никогда не может быть пассивным, — отмечал еще Н.А.Бердяев, — не может быть точным воспроизведением... Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент... Память совершает отбор: многое она выдвигает на первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда сознательно. Моя память о моей жизни ... будет творческим усилием моей мысли, моего познания сегодняшнего дня»⁴⁵.

Общественные блоки памяти не исключают индивидуальные памяти. По сути — это двусторонний процесс: коллективная память информирует индивидуальную память, расширяет ее и представляет «доминирующую память»⁴⁶. Скажем, представленные в масс-медиа трактовки каких-либо событий в определенных случаях ведут к тому, что люди вспоминают их собственное прошлое, эти трактовки как бы «провоцируют» воспоминания. И в то же время индивидуальные памяти действуют как своего рода проверка невыдержанных или

неточных толкований событий, характеров или мнений. Коллективная и индивидуальная память связаны: рамки индивидуальных личных воспоминаний социально продуцированы, в то же время значительный объем публичной памяти передается по каналам индивидуальной памяти. Вместе с тем, это не значит, что общественные памяти нуждаются в индивидуальном выражении. Коллективные памяти не нуждаются в подавлении индивидуальных памятей. Для коллективной памяти вовсе необязательно быть понимаемой всеми теми, кто принимает ее. Публичное представление о прошлом может быть «прочитано» индивидами различными способами и в противоположных манерах. В частной сфере может появляться множество значений, хотя на официальном уровне существует нечто единое, монолитное и неизменное⁴⁷.

Любой индивид конструирует знакомое прошлое и использует его в практических делах — «каждый сам себе историк»⁴⁸. Такое прошлое одновременно и персональное, и социальное прошлое: каждый конструирует картину общества, которая расширяется назад во времени и которое включает место для самого себя. Подобная точка зрения выражена исследовательской группой Popular Memory Group — «знание прошлого и настоящего продуцируется повседневной жизнью»⁴⁹. Существуют общественные представления, продуцируемые институтами и социальными акторами — и эти представления не просто сумма историй каждого как индивида. Каждый индивид конструирует групповую память, которая существует наряду с другими групповыми памятями.

В современных исследованиях имеются различные примеры того, как группы соревнуются в создании и продвижении их собственных версий прошлого в ущерб другим. Во всяком случае, создается впечатление, что социальная память постоянно находится в процессе пересоздания и переконструирования. Перефразируя П.Бурдьё, можно сказать, что память — это символическая борьба по поводу восприятия социального мира⁵⁰.

Каждая группа в обществе обладает собственным символическим капиталом, который она использует в дальнейшем. Память может выступать формой трансляции этого капитала. В последнее время проблемы взаимосвязи идентичности и памяти активно обсуждаются. В этом аспекте следовало бы вспомнить высказывание Д. Гиллиса о том, что память и идентичность не стоит смешивать, то есть это не взаимозаменяемые понятия. Это скорее представления или конструирования реальности, скорее субъективные, чем объективные феномены, и таким образом они вариативно меняются параллельно. Поскольку памяти помогают нам почувствовать, выразить мир, в котором мы живем, «работа» памяти аналогична любому виду физической или умственной работы, она как бы «врезана», вмонтирована в класс, гендер и властные отношения и потому определяет, что вспоминается-помнится⁵¹ (или забывается) — кем и с какой целью⁵². Тем самым память играет роль пред-условия, критерия идентичности⁵³. Память является и мощным культурным капиталом.

В связи с этим возникает вопрос, возможна ли какая-то единая, общая социальная память. Памяти групп, из которых состоит общество, должны быть гармонизированы и обобщены. Поэтому поле социальной памяти — арена конфликтов и одновременно механизм по предотвращению конфликтов. Групповые памяти сосуществуют с памятьми большого общества, поскольку нации стремятся обеспечить как можно более широкий всеобщий, всеобъемлющий нарратив. Но групповые памяти временами играют более активную роль, и группы формируют оппозиционные памяти как часть социального движения. В то же время коллективная память универсальна сама по себе — она представляет память всего общества более, чем часть какого-либо сегмента.

Таким образом, в структуре памяти выделяются представления о прошлом, настоящем, будущем и, наконец, идентификационные представления. Важна не

только память о каком-либо историческом событии, но и память как способ трансляции социального опыта, представлений, способов поведения.

* * *

Важно еще раз подчеркнуть: ярко выраженный интерес к памяти возник в европейском обществе именно тогда, когда — особенно в связи с распадом аграрного общества — был нанесен решающий удар традиции. Со становлением цивилизации Модерна связан закат крестьянской культуры, по выражению П.Нора — «квинтэссенции коллективной памяти». Однако не случайно о крестьянстве когда-то было сказано: «неудобный класс». Неудобным крестьянство было для горожан, для тех политиков, кто признает только простые, спрямленные пути решения сложных социальных вопросов. Уход крестьянства с исторической сцены в западном обществе, аграрная революция, коллективизация и декollektivизация в России, «зеленые революции» в незападном мире — все это приметы XX века, несомненно повлиявшие на представления о памяти. В России XX век как никакой другой в значительной степени «обогастил» крестьян огромным отрицательным опытом, деформировавшим его психику⁵⁴.

Именно в XX в. получили развитие крестьяноведческие исследования (peasant studies), или крестьяноведение, в центре которого находятся крестьянские «миры», выражающие общественные отношения и способы жизни, отличные от жизни городов и развивающейся в них науки. Крестьяноведение само выступает как род исторической памяти, призванной задать прошлому те вопросы, которые волнуют современность. Таким образом, и для XX века тема памяти и тема крестьянства оказываются тесно связанными, хотя и предстают в новом ра-

курсе. Крестьянство оказывается на пересечении устной и письменной традиции как противоположных культурных модальностей.

По образному выражению, крестьяне — живое прошлое, а значит, и память их претендует на особое место в памяти общества. Крестьяне — наследие традиционного общества в обществе современном.

Изучение крестьянских обществ в разных регионах мира позволило выделить ряд черт, общих для всех крестьян. Это семейное хозяйство, хозяйствование на земле, деревенская традиционная культура, низшее положение в системе социальной иерархии⁵⁵.

Для антропологической характеристики крестьянина важно подчеркнуть единство природного, хозяйственного и социального — подчинение хозяйственно-трудовой деятельности природным ритмам, тесное переплетение хозяйствования с отношениями в семье и с соседями, отсутствие ярко выраженной индивидуальности, преобладание социальных связей личного типа.

Смысл и символ крестьянства — земля. В крестьяноведении подчеркивается, что для крестьянина земледелие — не просто занятие или средство получения дохода, оно — образ жизни, признак, который характеризует крестьянство как человеческий тип. Иначе говоря, крестьянское отношение к земле — суть образа жизни⁵⁶. Уже изначально хозяйствование на земле, объединяющее духовную и материальную сферу, человеческий мир и природу, было сакральным актом, священнодействием, воспроизводимым в обрядах. Крестьянству свойственно мифологическое восприятие мира. Крестьянин воспринимал себя с землей архетипично, как единое целое. Подчеркивание же значения этой связи при определении своего места в мире и обществе характерно для работающего на земле человека новейшего времени.

Крестьянскому образу жизни свойственна нераздельность социального и культурного, а сама крестьянская культура ритмична и ритуальна. Слитность с при-

родой находит свое проявление в восприятии времени (время=круг). Аграрно-календарная обрядность направлена на воспроизводство крестьянского социума. Философия крестьянского землепользования включает в себя и общественные праздники и обряды, связанные с трудовыми процессами. Воспроизведение земледельческих ритуалов, их обязательная повторяемость — естественное явление в жизни общины. Крестьянство автономно, оно убеждено в неизменности собственного бытия и понимает себя лишь в качестве звена в непрерывающейся, вечной цепи предков и потомков. Для крестьянских обществ характерна локальность — устойчивая привязанность к определенному месту, которая порождает местную традицию. Но она порождает и замкнутость, обособленность, известную враждебность ко всему, что находится вне данной общности.

Крестьянская жизнь обладает заданностью, цикличностью, чередованием отлаженных ритмов труда и отдыха, регулируется традицией, обычаями, обычным правом. И труд (будничность), и отдых (особенно в его праздничном выражении) в рамках крестьянской общины являются видом общественной деятельности, и каждый одновременно — продолжение другого. Подобная упорядоченность способна породить консервативный тип мышления, настороженное отношение к новациям, которые, по крайней мере вначале, вносят дисбаланс в сложившееся гармоническое единство человека и природы. Во многом консерватизм диктуется инстинктом самосохранения, боязнью — ради выживания — рисковать и экспериментировать.

Крестьянство изначально — в зависимом положении. Вначале это — зависимость от природы, впоследствии к ней добавляется социальная зависимость. При этом крестьянству свойственно осознание и определенности (низшее место в системе социальной иерархии), и особенно — (кормилец) своего положения в обществе.

Занимая подчиненное — будь то политическое, экономическое или культурное — положение в обществе, крестьянство выработало этику выживания — «моральную экономику», позволяющую удержаться как от природной стихии, так и от давления «сверху»⁵⁷. В способности преодолевать голод и лишения крестьянство не знает себе равных. Крестьянствование — это социальные приемы «жизни вместе» — взаимопомощь и солидарность, общинная поддержка и приемы повседневного сопротивления — волокита, симуляция, воровство и все многочисленное другое, что позволяет избежать прямого столкновения с властями. Что касается верховной государственной власти, то устойчивой чертой ее восприятия крестьянством стала «посредническая миссия». Так возникает в крестьянстве идея судьбы (подневольный труд и приниженное положение), причем прежде всего судьбы коллективной⁵⁸.

У крестьян собственные представления о рациональности, справедливости, чести и достоинстве, причем эти понятия имеют, как и все другие черты крестьянства, свое историческое и региональное измерение.

Подобные черты были настолько прочно «встроены» в крестьянство, что способны воспроизводиться и тогда, когда крестьяне покидают свои родные места и обосновываются на новых землях или в городах. Так крестьянство своим примером демонстрирует действие памяти.

Развитость среди жителей деревни объединяющей их социальной памяти и способность к совместной духовной практике — важнейшая культурная традиция, направленная на поддержание крестьянского образа жизни. Память в крестьянском обществе — это не просто связь с прошлым. По выражению А.В.Гордона, крестьянская культура принимает образ «живой памяти», поскольку изначально для крестьянства память — способ существования культуры. В архетипе крестьянской культуры присутствовало тождество «прошлого-настоящего».

Для понимания крестьянской памяти и механизмов ее функционирования в крестьянском обществе целесообразно, на наш взгляд, обратиться к работам А.Бергсона, хотя он описывал память применительно к свойствам индивидуального сознания.

Чем в данном случае полезны для нас наблюдения и выводы А.Бергсона? Бергсон отмечал, что «тело, всегда направленное в сторону действия, имеет основной функцией ограничивать, ввиду действия, жизнь духа, ... в который мы проникаем с помощью памяти». Но обе памяти (или функции памяти) одновременно «оказывают одна другой взаимную поддержку»⁵⁹. Они действуют согласованно: чтобы воспоминание вновь появилось в сознании, надо, чтобы оно «спустилось с высоты чистой памяти именно до той точки, где совершается действие». Бергсон замечал, что именно по прочности этого согласования, по точности, с которой эти две дополнительные памяти внедряются одна в другую, узнаются «люди, свершенно приспособленные к жизни». Исключительно в настоящем живет импульсивный человек, реакции которого сродни поведению низшего животного. Не лучше приспособлен к действию и тот, кто живет в прошедшем, только потому, что это ему приятно; его воспоминания вытекают на свете сознания без пользы для настоящего положения. Между этими двумя крайностями стоит, по мнению Бергсона, «счастливая способность памяти достаточно покорной, чтобы с точностью следить за всеми очертаниями наличного положения, но также и достаточно энергичной, чтобы противостоять всякому иному призыву. Только в этом, по видимому, и заключается здравый или практический смысл»⁶⁰. Наблюдения А.Бергсона и других исследователей показали, что в нормальном состоянии у человека происходит задержка всех самопроизвольных воспоминаний, которые с пользой не могут укре-

пить существующее равновесие и, напротив, преобладание их в случае нарушения равновесия чувственно-двигательной нервной системы.

Специфика крестьянства — в особой сцепленности социального с природным. У крестьянства в силу этого оказывается слабо расщепленными память=образ и память=действие и в целом второе преобладает над первым.

Потребность в обращении к прошлому у крестьян весьма специфична. Крестьянство чувствует необходимость заручиться поддержкой предков, а потому традиционно воспринимает мир в категориях прошлого опыта. Архетипичность культа предков заключалась именно в постоянном контакте с ними. От предков ждали помощи, содействия в делах. Позднее культ предков предстает как их почитание и сохранение памяти о них, причем последнее свойственно более близкому к нам времени. Крестьянам не нужно культивировать связь с прошлым в современном понимании значения этого слова (напомним, что в современных культурах память — именно культивируемая связь с прошлым). Связь с прошлым — естественна, органична, а не преднамеренна ⁶¹. Историческая глубина крестьянской культурной памяти, отложившейся прежде всего в фольклоре, поразительна — ведь она охватывает века и даже тысячелетия. Характеризуя западноевропейское Средневековье (средневековое общество сохраняло черты традиционности) Ж. Ле Гофф отмечал: «Ментальность, эмоции, поведение формируются в свою очередь в связи с потребностью в самоуспокоении. Прежде всего хотелось опереться на прошлое, на опыт предшественников. Подобно тому, как Ветхий Завет предшествует Новому и служит основанием для него, поведение древних должно обосновывать поведение людей нынешних. Если и можно было предположить что-то определенное, так только то, чему можно было найти подтверждение в прошлом» ⁶².

Вместе с тем, генезис крестьянских обществ демонстрирует некоторое обособление двух временных измерений жизни: связка «прошлое-настоящее» оказывается не тождественной, а двуединой. Ведь для крестьянства характерна жизнь в двух измерениях. С одной стороны, его обычная повседневность по своему уникальна и неповторима. С другой стороны, она возможна потому, что подготовлена предками, предшествующими поколениями. Ведь крестьянин работает на земле, которую возделывали его предки. Орудия труда переходят из поколения в поколение. Он живет в родительском доме, среди предметов, сработанных старшими поколениями, использует одежду и утварь, которой пользовались и они. Тем самым частицей своего существа крестьянин постоянно находится в прошлом. Но это — не отстраненное восприятие прошлого, а коммуникация с ним, тем самым прошлое оказывается внутри крестьянина. Накапливаются, наследуются не только материальные блага, но и духовное богатство — навыки, знания, ценности⁶³. Так возникает традиция, в которой актуализируется прошлый опыт, и в крестьянском обществе культивируется не связь с прошлым, а обычай, повторяемость прошлого. Но прошлое тем самым сакрализуется и, значит, не отождествляется с настоящим, хотя и присутствует в нем незримо. Поэтому в крестьянской культуре и памяти происходит наслаивание старого на новое, «пересемантизация старых образов», соседство одного с другим и взаимное проникновение, что придает крестьянской культуре свойство «неисчерпаемости прошлого»: вариативность двуединства прошлого и настоящего многообразна во времени и пространстве существования крестьянских обществ⁶⁴. Крестьянской культуре чужда спрямленность и линейность, крестьянское сознание многослойно и способно совмещать несовместимое, крестьянин — статичен и динамичен одновременно. Поэтому вполне уместно говорить не о памяти, но — памятях крестьянства и крестьянских обществ.

Понять глубину и силу социальной памяти можно на основании таких параметров, как осознание сельскими жителями своей крестьянской идентичности; стремление, чтобы их дело было продолжено детьми; ощущение духовной связи с предками и потребность переосмыслить их опыт; ощущение соседства, особой социальной общности. Значение и действие этих факторов в истории разных крестьянских обществ различно.

* * *

В монографии рассматривается, как отразился в памяти российского крестьянства XX век. Но крестьянство менялось на протяжении XX столетия (условность понятия «крестьянин» применительно к современному работнику на земле отмечается в научных дискуссиях). Не осталась совершенно неизменной и его память. Поэтому в работе анализируется содержание и характер изменения социальной памяти крестьян в XX веке, речь при этом идет преимущественно о крестьянстве Европейской России, староосвоенных земель. Осмысление проблемы проходит в логике изменений крестьянского существования и положения крестьянства в обществе: вступив в XX век единоличным, индивидуальным хозяином оно вскоре стало коллективизированным, а в конце века оказалось перед выбором своего образа жизни.

Дело не только в том, чтобы выделить важнейшие события XX века и посмотреть, как они сохранились в памяти крестьян, какой след оставили — хотя такой подход правомерен, и автор пользуется им. Однако подобная заданность лишает возможности некоего вольного движения памяти. В равной степени важно понять — *что, как, зачем, почему* помнится и вспоминается (или — не помнится и забывается, и не вспоминается). Но главное — искать доминанты памяти крестьян и через них — представить «крестьянский» XX век.

При этом современность уникальна тем, что позволяет воспользоваться «живой» памятью нынешних поколений крестьян. Действие механизма социальной памяти прослеживается как на уровне событийной ретроспекции – «истории глазами крестьян», так и на уровне универсальном – самосознания крестьян, видящих в собственном прошлом ключ к сегодняшнему дню.

Проблема памяти – проблема конкретно-историческая, региональная, поколенческая. С изменением общества меняется и его память, а вариативность культурно-исторических типов различных групп крестьянства на громадных пространствах России и многообразие их опыта, отмеченного региональной спецификой, совершенно закономерно позволяет говорить об инвариантах памяти.

Точно так же и каждое поколение имеет свой собственный опыт, свою память, свои представления о жизни. Практически любое новое поколение постоянно находится перед выбором, что из наследия предков – сохранить или модифицировать, от чего отказаться или забыть. Понятно, что еще век-два назад опыт старшего поколения был более универсальным.

Исследователь, изучающий социокультурные инварианты памяти, сталкивается с целым рядом проблем, касающихся источниковой базы исследований. Это прежде всего проблемы характера, отбора, представительности, сопоставимости источников и методики их изучения.

Напомним, что с развитием письменности, репродуктивная память, хотя и сохраняется, но перестает играть ведущую роль, социальная память все более приобретает иную, опосредованную знаковыми системами, реконструктивную форму. Специфическая «окрашенность» крестьянской культуры – ее устный характер – свидетельствует о преобладании репродуктивной памяти у крестьянства. Память в реконструктивной форме в

целом крестьянству не свойственна, хотя отдельные регионы (Русский Север, Сибирь) или отдельные индивиды выходят за пределы устной памяти.

Источниками памяти крестьянства являются песни, предания и сказания; обычаи и обряды; их материальная культура, включая жилище, утварь, скот, инвентарь; сама среда обитания. Поэтому исследователи памяти крестьян (а по XIX вв. — практически исключительно) опираются прежде всего на памятники фольклора и этнографические описания. Письменных источников, исходящих из самой крестьянской среды, чрезвычайно мало.

Вместе с тем, с середины XIX в. городская культура со всеми своими атрибутами начинает свое активное проникновение в деревню, а само деревенское население столь же активно устремляется в города. В XX веке эти процессы усиливаются. Кроме того, XX век отличается большой социальной мобильностью. Все это не может не влиять на память и ее источники. В крестьянской среде появляются документы личного происхождения — дневники, письма, воспоминания.

И все же в основе своей крестьянство, даже обладая известным уровнем грамотности, не стремится выразить себя на бумаге (если это только не крик души в адрес власти, например), оно все равно остается безмолвствующим. Выход отчасти может быть найден в обращении к устным повествованиям о прошлом и настоящем. Интерес к «устной истории» (Oral history) связан с изменением представлений об объекте исторического исследования, с включением ментальных структур в предмет изучения. Устная история может быть определена как процесс сбора, обычно методом интервью с помощью диктофона, воспоминаний, описаний или интерпретации событий из недавнего прошлого. Критика метода обычно сфокусирована вокруг проблемы надежности человеческой памяти и надежности и достоверности дан-

ных, собранных этим способом. «Устная история» — это как правило мифологизированная история, и задача исследователя заключается не только в отделении мифа от реальности, но и в выяснении явных и скрытых причин мифотворчества. Итальянский устный историк А.Портелли, обсуждая проблему соотношения памяти и факта, заметил, что устные источники не всегда полностью достоверны с точки зрения фактических реальных событий. Память и рассказ людей о пережитых событиях могут создавать искажающие фактические события или даже выдуманные истории. Но Портелли считает, что подобная «недостоверность» устного рассказа не есть его слабость, а скорее — сила, поскольку она ведет через факты к их значениям⁶⁵. Устные рассказы — это скорее то, что называется «свидетельствами памяти» (memory claim). Рассказывая о себе или описывая то или иное событие, человек оказывается в состоянии пересмотра собственной картины прошлого, часто и настоящего.

«Устная история» развивается в тех областях, где происходят существенные изменения и отмечается нехватка архивных или письменных источников. История крестьянства относится как раз к таким. Важное преимущество устной истории — возможность сохранения в записи жизненного опыта людей, которые обычно не склонны переносить его на бумагу. С помощью устной истории создается новый вид истории — истории так называемых «простых», обычных людей, истории повседневности⁶⁶.

Исследование крестьянской памяти в XX в. опирается на крестьянские письма, воспоминания, жалобы в органы власти (Российский государственный архив социально-политической истории — РГАСПИ); Государственный архив Российской Федерации — ГАРФ); Российский государственный архив экономики — РГАЭ); материалы историко-этнографических и социологичес-

ких обследований, находящиеся в фондах Научного архива Института этнологии и антропологии РАН (Научный архив ИЭА РАН) и в фондах Отдела письменных источников Государственного Исторического музея (ОПИ ГИМ); на опубликованные документы личного происхождения, материалы обследований деревни, личные наблюдения автора, принимавшего участие в исследованиях деревни Европейского центра России в 1992-1998 гг.

Многие крестьянские документы написаны малограмотными людьми. Цитируя такие документы, автор намеренно сохраняла их орфографию, пунктуацию и стиль, поскольку это тоже — память.

Источники социальной памяти представлены неравномерно по отдельным периодам истории крестьянства в XX веке и по основным их типам, поэтому встает вопрос о сопоставимости информации, которая в них содержится. Социальная память функционирует, имея в виду некий идеал, эталон представлений о должном. Эти представления в крестьянском обществе обычно более устойчивы, чем в посткрестьянском или вообще некрестьянском обществе. Социальная память «работает» на воспроизведение крестьянских черт, кода «крестьянственности». С помощью социальной памяти сохраняются основные, «базовые» ценности крестьянского образа жизни — семья, общность, взаимопомощь, природа, приоритет морально-нравственных норм. С этих позиций и оценивались различные источники социальной памяти крестьян.

Воспоминания крестьян как проявление памяти относятся к их личному собственному опыту, но некоторые темы таким образом возникают в их воспоминаниях, что могут быть интерпретированы как часть разделяемой коллективно и поэтому — социальной — в большей степени, чем индивидуальной памяти.

История России дает немало примеров того, как использовались потенциальные возможности социальной памяти и она разрушалась. В XX веке власть нео-

днократно выступала антагонистом социальной памяти отдельных индивидуумов, целых социумов и этносов. Подобная участь постигла и крестьянство. Несмотря на это, в крестьянском обществе продолжает память и потребность в ней. Особенность крестьянства в том, что оно более других групп общества склонно удерживать основанные на его социальной памяти привычные представления прошлого.

Перестав быть крестьянской, Россия тем не менее несет в себе следы крестьянственности, да и сохранившаяся деревня с полным правом претендует на достойное место, не желая быть отброшенной на задворки истории.

Изучение истории России XX века сквозь призму крестьянской памяти позволяет понять потенциальные возможности социальной памяти как духовного ресурса преобразований, выявить взаимосвязь различных стратегий сельских жителей с актуализированным прошлым опытом. Все это чрезвычайно важно в условиях современной модернизации аграрного сектора, своими истоками уходящей в нынешнее столетие и подводящей ему своеобразный итог.

1. ПАМЯТЬ КАК ПОЛЕ СОСТЯЗАНИЯ

1. Память земли

Земледельческой культуре российского крестьянства, которая во многом определялась существованием самостоятельного семейного хозяйства и общины, были присущи некоторые устойчивые компоненты, среди которых — чувство хозяина, бережное отношение к земле⁶⁷. Земля представлялась общим достоянием людей⁶⁸. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что именно коллективная память крестьян о земле, некогда доступной всем, имела решающее значение в формировании обычного права и, напротив, неприязни гражданского права в западном его понимании, определив, тем самым его настроения, экономическое поведение, политическую философию⁶⁹.

Хотя российской деревне не был свойственен развитый индивидуализм как экономическая и этическая ценность, невозможно представить крестьянство вне индивидуального трудового хозяйства и трудовой собственности. Хозяйственная сметка, расчетливость были присущи крестьянину. Вместе с тем, традиционной была зависимость крестьянского хозяйствования от природного процесса. Аграрная культура отечественного крестьянства носила ярко выраженный характер выживания. Суще-

ствовала целая система мер, направленных на поддержку крестьянского индивидуального хозяйства силами общины, на борьбу с бедностью⁷⁰.

В крестьянском обществе традиционно поддерживалась потребность в сохранении исторических корней. Интерес к прошлому определялся прежде всего практическими потребностями повседневной жизни крестьян. Народное сознание типизировало лучшие образцы труда, бытового поведения и доносило до новых поколений как эталоны действия, мысли, чувства. Прошлое выступало и своеобразным критерием значимости крестьянства в обществе кормильца государства, общества, особенно в том случае, если нарушалась существовавшая в представлении крестьян система общественных связей⁷¹. Аккумулятором и транслятором социальной памяти крестьянства выступала община.

Некогда функцию всеобщей универсальной памяти народа выполнял фольклор. Традиционное общество, базирующееся на «устной истории», само творило свою историю сообразно с опытом предков. В XIX в. основным источником информации о прошлом для крестьянства оставался исторический фольклор: предания, песни, легенды, былины. Корреспондент Этнографического бюро кн. В.Н.Тенишева сообщал в 1899 г. из Болховского уезда Орловской губернии: «Исторические сведения... остаются в памяти крестьян благодаря лишь большим событиям, бывшим при их отцах и дедах и передаваемых из поколения в поколение или известных из народных песен»⁷². Однако часть исторической информации, относившейся, в частности, к землепользованию, передавалось в крестьянской среде из поколения в поколение посредством письменных документов (что особенно характерно для сибирского крестьянства).

Если память народа об историческом прошлом сохранялась, в основном, в устном предании, то информация о современных или недавно завершившихся со-

бытиях приобретала первоначальную форму слухов (особенно в связи с ожиданием «воли» и «черного передела», хотя и закреплялась в фольклоре⁷³. В то же время с распространением грамотности, развитием средств массовой информации влияние иных факторов на содержание социальной памяти заметно усиливалось.

Выделение в народной памяти исторических событий шло на разных уровнях. Существовали представления крестьян о хронологической последовательности исторических событий, включая такие давние, как образование Русского государства, татаро-монгольское нашествие, времена Ивана Грозного и Петра Великого. Взятые в срезе одной эпохи исторические события зачастую смешивались. Исторические факты группировались вокруг конкретных исторических лиц — царей, полководцев, народных героев. Правда, в народе до определенного времени присутствовал пиитет перед верховной властью и ее наиболее выдающимися представителями — достаточно вспомнить фольклор о «справедливых» государях Иване Грозном и Петре Великом. Исторические факты оценивались в сознании крестьян через призму общегосударственных интересов. Память о событиях определяли также конфессиональный и социальный факторы. При этом осознание социальных интересов носило в крестьянской среде постоянный характер⁷⁴.

В ментальной истории народа находили место прежде всего события и личности, с которыми связывались и ассоциировались вехи борьбы за землю и волю, за обретение гражданских прав, за преодоление чувства социальной ущербности, наконец, за национальную независимость. Среди них прежде всего — Степан Разин и Емельян Пугачев. На огромных пространствах Урала и Сибири сохранялось память о Ермаке. Власть не жаловала народную память, сохранявшую память о своих народных защитниках. Существуют данные о преследовании за память о них на рубеже XIX-XX вв. Со-

хранилось свидетельство В.Г.Короленко, изучавшего сохранность легенд о Пугачева на Урале. «Это есть речи политические, и за них уже трясли», — приводил ему аргумент местный старожил, отказываясь рассказывать о Пугачеве. Между прочим, этнографические экспедиции на Урал в 60-е годы нашего столетия зафиксировали крепкую память о том, как некогда боялись не только говорить, но даже слушать о Пугачеве: «Раньше при царе большие строгости были. Слова не скажи. Услышат, донесут, худо будет, всего лишишься. Мужики как сойдутся, говорят между собой, перешептываются — нельзя было вслух-то говорить. Кто про Пугачева начнет, мол за народ шел, забирал у богатых, отдавал бедным, а другой мужик испугается, встанет и уходит. Боятся»⁷⁵. Поскольку за память могли наказать, фольклорные свидетельства о народных войнах были неполны, бедны. Не отсюда ли истоки утверждений М.Горького, в бурные революционные годы полемично заявившего об отсутствии у русского крестьянства глубокой и основательной исторической памяти ⁷⁶. Безосновательность такого утверждения подтвердили сами крестьяне в ходе аграрной революции, неустанно ссылаясь на собственные исторические права.

Основанные на исторической памяти представления крестьянства о себе как кормильце страны включали понятие земли в основное среди составляющих крестьянской идентичности. Земля и крестьянин становились синонимами.

Историческая память крестьян о земле имела два уровня, два пласта, тесно связанных между собой: земля выступала как метафорическое понятие, определяющее самосознание крестьянства, и как тот материальный объект, без которого хозяйствование и сама жизнь невозможны. Наиболее отчетливо эти представления прозвучали на рубеже XIX-XX веков, когда крестьянское движение в России приняло характер аграрной революции.

К началу XX в. в российской деревне сложилась земельно-правовая система, которая опиралась на круг устоявшихся отношений между крестьянским двором и общиной как посредником между крестьянином и государством. Эти отношения базировались преимущественно на нормах обычного права. Крестьянский строй определялся существованием единоличного семейного (чаще – большесемейного) хозяйства-двора и общины, поддерживавшими оптимальный хозяйственный режим. Земля была основным богатством крестьянской семьи, деньги являлись всего лишь средством для приобретения дополнительной земельной площади или связанных с ней средств производства⁷⁷. Крестьянское общественное мнение выступало за достаток – достаточность жизненных благ и для отдельного двора, и для деревни в целом, а богатство ассоциировалось не с количеством материальных благ (земля – совершенно иное), а с полнотой бытия.

Свое особое положение в обществе крестьянство связывало именно с землей⁷⁸. При этом представления о собственном месте в обществе были весьма противоречивы – от заявлений «крестьянство – фундамент государственности», «господа земли» до «вечное рабство», «безысходная нужда»⁷⁹. По мере развития аграрной революции и особенно в годы первой мировой войны укреплялась уверенность крестьян в необходимости признания обществом их статуса.

Историческая память крестьянства, опиравшаяся на традиции, поддерживала его трудовое право и принадлежность к сообществу. В исторической памяти преобладали оценки морально-нравственного характера, а отношение крестьянства к земле оценивалось как восстановление попранного ранее трудового права (личный труд или труд живших на данной земле предшествующих поколений крестьян). Поэтому крестьяне отказывали в моральном праве на землю тем, кто не трудился на ней,

в частности помещикам. Отсюда и понятие крестьян накануне отмены крепостного права: «мы ваши (то есть помещицы), а земля-то наша»⁸⁰.

После 1861 г. на первый план в крестьянской борьбе выдвинулось понятие «земли». «Отпустили крестьян на свободу 19-го февраля, только землю не дали народу — вот вам милость дворян и царя» — такова была крестьянская оценка Великих реформ⁸¹. Именно с идеей «черного передела» был связан основной комплекс слухов в крестьянской среде⁸².

Крестьянское движение начала XX века, выражением которого стали, в частности, крестьянские приговоры и наказания, актуализировало крестьянскую память, благодаря чему права крестьян на землю были облечены в емкую и четкую форму. Право на землю определялось не только вложенным трудом: «Горят не барские хоромы, а наших дедов кровь» — таковы были аргументы крестьян. Идеи «Божьей», «ничьей» земли и «трудового начала» были основным моральным постулатом и программной установкой⁸³. При этом слышался и другой голос — голос крестьян-собственников, опасавшихся потерять заработанную «горбом» трудовую землю, опасавшихся всеобщего передела⁸⁴. Пятьдесят лет спустя (речь идет о 1954 г., когда Исторический музей проводил свои экспедиции) в одном из сел Воронежской области местный учитель, родом из крестьян, хорошо помнил стремление своих предков укрепиться не только на купленной, но и на наделной земле. Подтверждением первого служил сохраненный им документ на покупку помещичьей земли, принадлежавший его прадеду. Подтверждением второго — врезавшийся в память как «память тела» раздел земли: когда делили землю, то на межу водили ребят, секли их там и кормили пряниками, чтобы запоминали границу раздела»⁸⁵.

Развитие образования в крестьянской среде приносило свои результаты. Хотя слухи о «черном переделе» и царских милостях на этот счет сохранялись, историческая память крестьян облекалась в письменную форму. Однако распространение письменных приговоров и наказов как документов массового происхождения являлось свидетельством не только выхода крестьянской памяти на иную форму выражения. В крестьянском обществе устная культура — основа патриархальной системы. Крестьяне не умели писать, и слово стариков являлось источником власти. Когда грамотные, преимущественно молодые, крестьяне начинали писать разного рода документы, обращенные к властям — это становилось предпосылкой для изменения власти внутри крестьянского сообщества ⁸⁶. И, разумеется, не только внутри его.

В конце XIX — начале XX в. крестьянство остро воспринимало земельные проблемы. В сознании из-за аграрного перенаселения Центра наряду с привычным понятием «голод» стало формироваться — по аналогии — еще одно: «земельный голод». Все чаще стали практиковаться земельные переделы, причем и в тех районах, где прежде их не было, например, на Русском Севере или в Сибири, призванные привести в соответствие количество земли в каждом крестьянском хозяйстве, входящем в состав общины, с числом работников в нем. Историческая память становится обоснованием незыблемости общинного землепользования.

Затраты труда выступали в качестве исторического аргумента и когда крестьяне обосновывали необходимость сохранения общины с переделами, и при переходе к подворному владению. Это лишний раз доказывает, что историческая память — явление сложное, с одной стороны, сохраняющее глубинное, архетипическое, а с другой — чрезвычайно подвижное и ситуативное. Определяется это и свойством человеческого сознания вообще, и крестьянского, в частности. Помещичья земля, по мнению крестьян, принадлежала им a priori.

Что касается наделной общинной земли, то здесь крестьяне надеялись найти подтверждение своих прав на землю и обеспечить будущее последующих поколений. Вот как выражал эти представления один из крестьянских корреспондентов в конце XIX столетия: «Перейти к подворному владению нельзя, по моему мнению. Мне бы и самому лучше было, как у меня теперь большое семейство. Но как у другого после народится много народу, тогда ему негде будет взять земли и купить не на что, тогда он должен скитаться, Бог знает где, а я или мои наследники будут блаженствовать. А прадеды (предки) его платили выкуп за землю, то и мне, я считаю, будет грех владеть чужим трудом». Ощущение общины как большой семьи, в которой каждый найдет поддержку и защиту (при этом наиболее ярко эта сторона общины проявилась собственно в распределении земли) — в этом ее сторонники видели главную для себя ценность. И в то же время мораль вполне могла отступить на второй план: «хоть бы война — народу поубавилось бы»⁸⁷. Выделы из общины в столыпинскую реформу были восприняты не только как непонятное новшество, но и как дело греховное, недобросовестное и неморальное, гибельное для общины»⁸⁸.

В столыпинскую реформу «исторические права» на наделную землю могли предъявляться с разных сторон, обостряя ситуацию внутри крестьянского мира. Тогда о своем праве на землю внутри общины «вспомнили» те, кто давно жил в городе и фактически «порвал с землей»: внуки просили земли, сколько было по ревизии на их деда. Крестьяне и расценили реформу как маневр властей, чтобы «путать мужичков», чтобы «они грызлись из-за своей земли и забыли бы о барской земле»⁸⁹.

В столыпинскую реформу столкнулись по крайней мере две ценностные ориентации. Общинное сознание ожидало не просто перехода всей земли крестьянству, земельной прибавки, а всеобщего земельного поравнения. Распространенными были настроения, что реше-

ние собственной проблемы лежит вне индивида (шире — вне крестьянства). Современники отмечали, что крестьяне «ждут земли, как воли ждали, уверенные, что раз «царь дал волю — даст и землю» . При этом крестьянству была свойственна иллюзия, что прибавка земли неизбежно приведет к подъему крестьянских хозяйств.

С другой стороны, выдвинутые столыпинской реформой ценностные ориентиры не были чужды крестьянству, но в тот момент не имели того значения как земельная прибавка. У крестьян появлялся и другой аргумент — «сколько я навоза ввалил», — влекший к укреплению землепользования. При этом здесь действовала основная моральная норма общины — трудовое начало. Отмечалось, что из-за переделов земля становилась крестьянину чужой, у нее не было коренного хозяина (именно хозяина, а не собственника) ⁹⁰.

Реформа спровоцировала рост уравнительных настроений крестьянства, а годы революции и гражданской войны для крестьян на первом плане была проблема «всероссийского крестьянского владения землей». Аграрная революция отбросила деревню на несколько десятков лет назад, архаизировав формы хозяйства, образ жизни и систему отношений ⁹¹.

При этом она не сняла основного противоречия — аграрного перенаселения. Крестьянская мечта оказалась во многом призрачной — земли все равно не хватало. Более того, на землю претендовали те, кто по каким-либо причинам оказался вне «черного передела»: возвращавшиеся из плена и с фронта солдаты или крестьяне, ушедшие в прежние годы в город, но гонимые голодом и неустроенностью обратно в деревню. Земля в представлении бывших красноармейцев, участвующих в революции и гражданской войне, должна была стать платой новой власти за пролитую кровь ⁹².

Не случаен «азарт дележки», испытанный деревней вплоть до середины 20-х, с помощью которой она пыталась сохранить status quo общины и крестьянского

хозяйства. «Ежегодно делят землю на 12 лет», — так образно охарактеризовал уравнительный синдром один из крестьян⁹³. Постоянные переделы порождали неуверенность, нежелание вкладывать силы и средства в землю, в конечном счете лишали чувства хозяина. Все так же общинники следовали правилу «наши деды так жили, и мы проживем»⁹⁴.

Исследователи деревни отмечали особенное влияние «прошлой школы жизни», «школы выживания» крестьян на их сознание и поведение⁹⁵. Появившиеся с начала 20-х годов стремления отдельных хозяев укрепить свою земли встречали сопротивление однообщинников, потому что «земля уходила».

В 20-е годы память крестьян, воплощенная в общинном сознании, вновь выбирает аргументы «за» и «против» конкретных форм землепользования. К выходящим из общины на хутора и отруба относились как к нарушителям старинных обычаев⁹⁶. Исследователи крестьянского быта 20-х годов зафиксировали существование крестьянской сказки об общине: «Как жизнь человека делится на первое — жизнь в семье, или до женитьбы; на второе — жизнь женатого человека и третье — жизнь с разводной женой — так и хуторяне. Жизнь в общине — это жизнь до женитьбы, у родного отца, тут тебе все готово и все тебе помогут. Жизнь на хуторе — это женатый человек, отрезанный ломоть, кроме жены — никого. Жизнь с разводной женою — это когда у хуторянина уже выросли несколько сыновей и земли стало мало, нужно опять как-то делиться или уходить, а в деревню обратно уже не примут»⁹⁷. Впрочем, «разводная жена» — это новое веяние.

С другой стороны, заметным было стремление к стабилизации и интенсификации землепользования, которое выражалось в разных формах — реорганизации общинного землепользования, введении многополья, выделах из общины, устройстве хуторов и отрубов, поселков и выселков. Тенденции индивидуального зем-

лепользования сильнее были выражены в Сибири, в западных областях ⁹⁸. И все же собственность на землю не выступала как самоценность и самоцель, она в представлении крестьян по-прежнему имела сословно-трудовое происхождение и подчинялось крестьянствованию ⁹⁹.

В 20-е годы сохранялось заложенное в крестьянстве понятие о физическом труде как основе права на землю. Сторонники укрепления своих полос интерпретировали его, выдвигая примерно те же доводы, что и в годы столыпинской реформы: «Неужель же` мои разработанные полосы достанутся лодырям, а его каменистая дичь — мне? Желание крестьян — при будущем переделе получить свои же участки, политые потом» ¹⁰⁰. Речь шла скорее о хозяйствовании на земле, тем более что крестьяне получили право владения землей.

Вместе с тем, реалии нэпа породили свои проблемы. Не земля, а рост цен, повышение налогов стали рассматриваться как причина ухудшения жизни крестьян. При этом крестьяне надеялись на совершенно иное отношение власти к себе. Крестьянские письма свидетельствуют о росте самосознания крестьянства в 20-е годы.

Крестьян, безусловно, уже не устраивало то положение, которое было при царизме, когда «дров приходилось просить без шапки». Им нужны были равноправные отношения двух союзников. Однако на деле, по мнению крестьян, рабочий класс и его партия превратились в привилегированный слой. В духе традиционной крестьянской антитезы провозглашалось: «Вот и приходится говорить, что власть наша, да воля — ваша» ¹⁰¹. Крестьяне очень ревностно относились к тому, что они не обладали равной с рабочими реальной властью. «Если наша власть, то пустите и нас где-нибудь прилепиться с краешку» ¹⁰².

Крестьяне и свое прошлое оценивали прежде всего в контексте отношений «крестьяне — власть», а не «крестьяне — земля». В 20-е годы проявилось характерное

для крестьянства вообще стремление давать оценку действиям властей в морально-нравственном ключе, по принципу «справедливо-несправедливо». Документы, исходившие из крестьянской среды, прежде всего письма в центральные и местные партийные и советские органы, в газеты и журналы свидетельствуют, что крестьяне считали политику власти в отношении деревни несправедливой. Здесь очень мощно срабатывала историческая память. В современных западных исследованиях отмечается, что изучение того, как группы помнят и утверждают на поле битвы за власть и культуру, является, возможно, центральной проблемой исторической памяти¹⁰³.

Целью подобного экспрессивного порядка, выраженного с помощью памяти, было напомнить власти о себе. Крестьяне подчеркивали свою решающую роль в революции, констатировали, что землю землю они завоевали сами. Им было непонятно, почему объявленная свобода, в том числе свобода труда на свободной земле оказалась всего лишь обещаниями, а не реальностью. Сформировавшееся у крестьянства в конце XIX в. понятие о пролитой за землю крови (в добавление к физическому труду) как основе права на землю сохранило свое звучание в 20-е годы и выступило в качестве обвинения власти¹⁰⁴. Крестьяне приходили к выводу: земля в сущности принадлежит государству, а мужик за нее вынужден еще и платить. Крестьянин получил землю, но за нее Советская власть «лупит» налогами, что мужик и земле не рад больше» Все чаще звучали заявления, что Советская власть «топит и душит» крестьянина¹⁰⁵.

На протяжении 20-х годов крестьяне требовали политических прав, что первоначально преломлялось в лозунге « равные с рабочими избирательные права», а во второй половине 20-х — в идее Крестьянского союза. Свои требования крестьяне подкрепляли ссылкой на принадлежавшее «испокон веков» крестьянству место как «кормильца и фундамента государства»¹⁰⁶.

И все же уже в 20-е годы стали звучать настроения, вполне созвучные коллективизации: «пусть государство возьмет нашу землю, и мы будем работать как наемные рабочие 8 часов и даже жалованья нам не надо, давали бы только пищу и одежду»...¹⁰⁷.

В то же время в памяти последующих поколений и в их воспоминаниях о 20-х годах земля выступает символом безусловного богатства крестьянской семьи, а годы нэпа рисуются как наименее конфликтные. И здесь мы встречаемся с феноменом исторической памяти.

Дело в том, что в массовом городском сознании конца 80-х — начала 90-х годов XX столетия — под сильным влиянием публицистики и произведений художественной литературы — складывалось впечатление о «золотом веке» нэповской деревни. Деревня представлялась островком сытости и довольства, на которую «вдруг» в 1930 году обрушилась коллективизация. Наиболее типичны следующие представления: «О нэпе здесь (имеется в виду село Ряполово Костромской области — И.К.) до сих пор вспоминают захлеб. Вспышка всеобщего благоденствия — лучшие годы Ряполова. 70 дворов и раньше жили безбедно, а тут прорвало: кто кого перегонит по производству ржи, мяса, молока, льна. Водяные мельницы, школа, отремонтированная церковь, Колбасная фабрика. Кузнецы, пекари, бондари, сапожники»¹⁰⁸. Для определения подобной особенности исторической памяти используется понятие «соблазн ностальгии»: стремление запомнить приятные, положительные стороны прошедших событий и избежать тяжелое и неприятное¹⁰⁹.

Значительно меньше иллюзий у самих сельских жителей, хотя не всем удалось избежать идеализации этого периода. Споры нет — 20-е, мирные нэповские годы были временем относительно благополучным на фоне первой мировой войны, революции, гражданской войны и «военного коммунизма», а затем и коллекти-

визации. В воспоминаниях старшего поколения крестьян российской деревни начала 90-х годов, чьи детство или юность пришлись на 20-е годы, как правило, подробно живописуется сельский уклад этого времени. Здесь мы видим достаточно развитую структуру институций единой деревни, включающую многообразную систему обеспечения хозяйственных нужд крестьянского двора (торги, ярмарки, лавки, мельницы, различные подсобные промыслы). Двадцатые годы представляются им временем незыблемости патриархальных отношений. Сильнее подобные настроения выражены у северного крестьянства (костромская деревня имела много общего с северной деревней), но крестьяне и других районов России обращали внимание в своих воспоминаниях именно на эту сторону дела. Вместе с тем, важны и критерии, по которым оценивается прошлое. Для стариков-крестьян таким критерием было умение работать на земле. В 20-е годы крестьяне, безусловно, обладали этим умением, поэтому то время и стало эталоном или ориентиром. Но крестьяне на собственном опыте прекрасно знали цену этого умения и уже по поводу цены не обольщались. Исследователи современной деревни отмечают, что привязанность крестьян к земле, любовь к ней «от восхода до заката» во многом мифологизирована общественным мнением и является лишь одной стороной правды, выражая реакцию на нелюбовь к земле и крестьянам чиновников. Вторая же сторона правды заключается в том, что тяжелый ежедневный труд на земле — это результат нужды и проявление простой хозяйственно-экономической необходимости¹⁰. Поэтому в воспоминаниях крестьян о 20-х годах присутствует и ностальгическая нота, объясняемая утратой присущего крестьянам умения работать на земле и самого крестьянского образа жизни, а отсюда недалеко и до идеализации утраченного; и реальные зарисовки нэповской повседневности, далеко не идиллические. Тем более для самих современников, для тех, жил в 20-е годы, это время было наполнено драматизмом.

2. Память и индивидуальный выбор

Любая эпоха воплощается в символах и вещах; вхождение в новую эпоху — это вхождение в мир иных значений, символов и вещей¹¹¹. Вхождение в Модерн — это вхождение в мир, который, по выражению В.Зомбарта, суть «сложная комбинация школьного преподавания, карманных часов, газет, дождевых зонтиков, книг, канализации, политики и электрического освещения»¹¹².

Именно газета, продемонстрировавшая к тому же результаты школьного образования, оказалась наиболее ярким воплощением советского Модерна. Газета представляла собой печатное слово, которому — по крайней мере в деревне — безусловно верили, и вера в которое поддерживалась «сверху». Что касается памяти, то следует отметить, что масс-медиа, включая прессу, можно рассматривать как точки, институты создания памяти и как центры создания материалов для изучения памяти¹¹³.

С помощью газеты крестьянство активно осваивало письменную культуру, и тем самым решительнее порывало с собственной культурой. Еще газеты помогали крестьянам обрести индивидуальные биографии. Переход от памяти к истории формировал множество частных памятей, требующих их индивидуальных историй¹¹⁴. Чтобы стать селькором «Крестьянской газеты» в 1924–1928 гг., необходимо было заполнить специальные анкеты. При этом каждому селькору присваивался личный номер. Селькоры могли подписывать свои корреспонденции как собственными фамилиями, так и псевдонимами и номерами — символика и абстракция как воплощение времени. Газету интересовали самые разные сведения о селькорах, в том числе основные события их жизни. Значительная доля «автобиографической» части анкет приходила в редакцию незаполненной.

Причинами тому были, во-первых, возраст селькоров, большинству из которых было от 17 до 26 лет. Будущие селькоры считали, что в их жизни важных событий не было вовсе или было не столь много, что о них следовало писать в газету¹¹⁵. Во-вторых, многим было весьма сложно понять, какие события их жизни можно считать важными, о чем они писали тоже. Одни писали о своем главном занятии — хлебопашестве. Другие, напротив, стояли на распутье, ощущая в постреволюционную эпоху новые возможности: «Из жизни скажу: стремлюсь всеми фибрами души к знанию и свету, но по бедности не могу выбраться из обстановки и как следует обзавестись или домашним хозяйством, или поступлением в должность»¹¹⁶. Наконец, у человека, живущего еще в мире традиционной культуры, пусть уже подвергшейся влиянию города, автобиографии в прямом смысле нет. Люди не знали, что такое автобиография. Биографии крестьян чаще всего представляют собой скорее биографии семьи и рода, а не отдельного индивида. Возникновение биографической идентичности — привилегия Модерна.¹¹⁷ Не случайно среди молодых селькоров — в отличие от селькоров среднего и старшего возраста — было немало тех, кто все-таки писал развернутые автобиографии.

Так, если один крестьянин написал при заполнении анкеты в 1928 г. — «в этих строках я не понимаю и не разберусь», то для Ф.П.Антипенко из Псковской губ. «автобиография», по всей видимости, олицетворяла собой новую для крестьян, наполненную духом просвещения, жизнь, которую несла с собой революция: «У нас автобиография заброшена как степ дикая темнота у нашей деревни 30 дворов одна газета выпесана». Его одноклассник двадцатилетний С.Н.Смирнов из Тверской губернии в центр автобиографического описания поставил фразу «я с малолетства не видал от родителей хорошей жизни» в надежде на принесенную революцией хорошую жизнь¹¹⁸.

Автобиографии демонстрируют новые цели и ценности молодого поколения, нередко идущие вразрез с целями и ценностями традиционного общества, с которым было сильнее связано среднее поколение, не говоря уже о старшем. Историческая реальность подвергается продолжительному процессу конструирования и переконструирования, и каждое поколение в большей или меньшей степени пишет его собственную историю¹¹⁹

Человек — участник общественного процесса, «актор» воспринимает социальный мир через габитус, который являет сложную структуру человеческие настроений, верований, убеждений, моральных норм. Представления «актора», или социального агента меняются в зависимости от его габитуса, взятого как система схем восприятия и оценивания, как структуры, которые агенты получают в ходе их продолжительного опыта. У социального агента возникает потребность в самоопределении и определении других участников социального поля, поэтому габитус подразумевает *sense of one's place* (чувство собственного места) и *sense of other's place* (чувство места другого). При этом агенты, классифицирующие сами себя и позволяющие себя классифицировать, выбирают в соответствии с собственными представлениями различные атрибуты, которые соответствуют их жизненной позиции¹²⁰.

Прошлое может выступать прямой детерминантой социального определения и самоопределения в настоящем. Социальная память — это механизм, который сохраняет в сознании общества имевшиеся в прошлом модели поведения. Но она же формирует на основе этого опыта современные модели поведения. П. Бурдьё считает, что «самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективное конструирование прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего»¹²¹. Исследования показы-

вают, например, что продвинутость в системе современной социальной иерархии позволяет индивиду ассоциировать себя с настоящим или будущим и, напротив, низкие оценки своего положения в обществе ставят индивида в семантическое пространство прошлого. Соответственно меняется и оценка прошлого, и характер притязаний к нему ¹²².

Габитус выступает как система предрасположенностей к практике, поэтому возможность прогнозирования практики обеспечивается тем, что под воздействием габитуса агенты, которые им обладают, ведут себя определенным образом в определенных обстоятельствах, хотя габитус подчинен одновременно логике неопределенности.

Автобиографии селькоров демонстрируют нам процесс возникновения нового габитуса, появление новой телесности и ментальности.

Автобиографии, с одной стороны, индивидуальны. Они достаточно свободны в изложении фактов, нередко это такие факты, которые позже приходилось скрывать. Автобиографии определяется собственными представлениями селькоров о том, какой она может быть. Хотя большинство сознавало, в какое время и в какой стране живет, в какую газету пишет. Поэтому основная часть автобиографий может быть разделена примерно на три группы по принципам описания, или припоминания, собственной жизни. Именно здесь сказывается влияние на индивидуальную память и коллективной памяти крестьянства, и формирующейся коллективной памяти советского общества. Встречаются автобиографии, в которых были объединены два или все три принципа припоминания.

Селькоры стремились не просто подчеркнуть свое крестьянское происхождение. Автобиография как собственный «Я»-проект была тем, над чем можно было работать. В сознание входила мысль, что биографию можно испортить ¹²³. Поэтому, ориентируясь на офи-

циально провозглашенную поддержку бедноты, селькоры отмечали свое преимущественно бедняцко-батрацкое происхождение: автобиографии полны на этот счет специальными замечаниями. Так, в отдельных случаях авторами даже делались сверху текста соответствующие приписки. И все же автобиографии начинаются с констатации того, чем занимались родители, деды и прадеды: «Мои родители занимались век свой хлебопашеством»; «сын крестьянина: отец мой с малых лет занимался хлебопашеством»; «мои родители были настоящие крестьяне», «я происхожу из закаленной крестьянским трудом семьи»¹²⁴. Дальше шло более или менее подробное описание жизни.

Правда, если анализировать содержание автобиографий, то создается впечатление, что многим подобная точка отсчета была необходима для того, чтобы в конечном счете дистанцировать себя от старших поколений, занимавшихся хлебопашеством. Селькоры демонстрировали готовность к жизненному выбору, возникали представления о жизненном шансе. Подробные автобиографии как раз писали те, кто порывался уйти из крестьян, для кого занятие сельским хозяйством было вынужденным, кто стремился дальше учиться или продвигаться по «партийно-советской линии». Так начинали формироваться массовые представления о множественности выборов. Вот наиболее характерные отрывки из подобных автобиографий: «Родился в бедняцкой семье. Отец был бедный, а поэтому он рано начал учить меня привыкать к ведению сельского хозяйства. Моей заветной мечтой было учиться живописи. Я постоянно слышал насмешки от товарищей. Отец был груб, запрещал, считал это баловством. Я был обречен на жизнь в деревне... Я бросился в общественную работу» (Глазунов Г.К., 1901 года рождения, Воронежская губерния); «Родился в семье крестьянина-средняка... Я до школьного возраста пас гусей. По окончании сельской школы у меня было желание учиться выше, но наша

бедность не позволяла, к тому же отец сам невоспитан, так и меня не хотели воспитать. После этого до трудоспособного возраста я пас коров... В 1923 г. начал селькоровскую работу. Развожу пчел, читаю литературу пролетарских писателей, учусь писать стихотворения и хочу поступить в члены всероссийского союза крестьянских писателей» (Колягин В.Ф., 1900 года рождения, Тамбовская губерния)¹²⁵.

Чтение, приобщавшее к городской культуре, становилось и источником конфликтов в семье, в деревенском сообществе, отношений с носителями самой городской культуры.

Истоки этих процессов лежали, естественно, в более раннем времени. Действительно, крестьянский парень через несколько лет после обучения в школе и учительской семинарии менялся даже внешне, его переводили в разряд господ (в крестьянском понимании этого слова) и он отпадал от крестьянской массы, даже если не порывал с ней¹²⁶. Ярко и образно писал о судьбе таких крестьянских парней Иван Вольнов в своей крестьянской хронике «Повесть о днях моей жизни».

Впечатления о дореволюционной школе, ее влиянии на крестьянское общество в целом и судьбу отдельных крестьян оставили заметный след в памяти И.Столярова. Происходя из бедной крестьянской семьи Воронежской губернии, он смог тем не менее окончить сельскохозяйственное училище, а затем продолжить образование в Сорбонне. Его «Записки», опубликованные спустя 20 лет после его смерти в 1956 г., стали документом, отражающим особенности памяти бывшего крестьянина¹²⁷. Путь, который проделал он, был в своем роде уникален (Сорбонна есть Сорбонна), но вместе с тем в нем было много типичного для тех, кто не останавливался на уровне церковно-приходской школы. В «Записках» был подробно описан путь ученичества. И. Столяров отмечал, что для него понятие «учить-

ся» было всегда связано с какой-то тайной. В то же время для большинства крестьян учение представлялось делом бесполезным, если не вредным: родители школьников лишались помощников на полевых работах. Препятствием к учебе были бедность и отдаленность школ.

На всю жизнь запечатлелась в его памяти первая прочитанная им книга — «Первая пчела»: «Она научила меня по-иному смотреть на окружающий мир и лучше понимать жизнь крестьян» Он писал о благотворном влиянии на крестьянских детей земских школ, которые «стремились привить крестьянским детям любовь к серьезному чтению, научить понимать явления природы и окружающую среду». По мнению Столярова, те, кто заканчивал эти школы, не забывали полученных знаний, становились более сознательными членами крестьянского общества. Иное дело — церковно-приходские школы, в одной из которых учился он сам. Ученики были не любознательны и равнодушны, «оканчивающие эти школы, не заражались в них ни любовью к учению, ни желанием к усовершенствованию». Столяров отмечал, что из восьми человек, выдержавших выпускной экзамен в школе, пять были крестьянские дети. «Все они, кроме меня, — писал он, — через небольшой промежуток времени опять превратились почти в безграмотных»¹²⁸.

«Униженное со стороны низших сословий, — отмечал И.Столяров, — крестьянство не спешило идти по стопам города, оно продолжало еще питаться соками старины. Оно не изменило даже своего внешнего вида — одевалось, строилось, обувалось по-старому». Не случайно поэтому в деревне любили сказку, уводившую в другой мир. И.Столяров испытал многое из того, что испытывали другие крестьяне, стремившиеся учиться — отчуждение в самой крестьянской среде, болезненную адаптацию в городе («я был в городской жизни как капля постного масла в воде»)¹²⁹.

Так или иначе, люди становились грамотными, а значит, приобщались к другой — письменной — культурной традиции. И хотя отмечались частые пропуски занятий детьми, все же находились те, которые продолжали самообразование или учебу, причем не только потому, что имели для этого материальную возможность, но и внутреннюю потребность.

Автобиографии показывают тесную связь между хозяйственными возможностями крестьянского двора и намерениями родителей учить детей. Очень многие автобиографии как раз не просто фиксируют этот конфликт — желание учиться и невозможность продолжать учебу из-за необходимости включаться в работу своего хозяйства — они построены на этом конфликте. Впрочем, не менее сильной была зависимость от традиции: старшие поколения крестьян считали, что минимального образования на уровне церковно-приходской школы вполне достаточно. Крестьяне считали, что учитель «развращает детей», отрывая их от крестьянского труда; к тому же за услуги приходилось платить (например, несколько пудов зерна в год). Подобные взгляды сохранялись в деревне и в 20-е годы.

Многие писали автобиографию как автобиографию человека, который собирался стать сельским *корреспондентом*. Поэтому для них было важно зафиксировать такие факты, которые впрямую подводили к выводу о своеобразной «профессиональной пригодности». Именно годы учебы становились важнейшими вехами в жизни.

При этом полученные в школе знания не только «уводили» от земли, и, напротив, могли «приводить» к земле. Так, селькоры отмечали свой интерес к культурному ведению сельского хозяйства, участие в сельскохозяйственных кружках, стремление ввести агроулучшения¹³⁰. Будто под кальку написаны автобиографии: в них постоянным рефреном шло — «зимой учился в школе, а летом — в поле с раннего утра до темна»¹³¹.

Неуемная жажда знаний, стремление к чтению самой разнообразной литературы — вот что отличало тех, кто хотел стать селькором.

Вхождение в Модерн сопровождается секуляризацией. Не случайно важное место в автобиографиях отводилось описанию становления атеистических убеждений селькоров: ненависть к преподаваемому в школе «закону Божиему»¹³².

Обычно автобиографии, написанные селькорами, не превышали заданного редакцией объема, как сейчас сказали бы — «две страницы стандартного формата». Однако встречались автобиографии большие, носящие действительно характер воспоминаний о прожитой жизни, авторы которых были не лишены литературного слога. Такой была автобиография Васина Якова Антоновича, родившегося в 1907 г. в с. Аниковка Кулешовской волости, Лихвинского уезда Калужской губернии (ныне это территория Тульской области), присланная им в редакцию в 1923 г.¹³³.

Он подробно описал жизнь своей бедной семьи, в которой отец каждую весну отправлялся на заработки по строительству, и основное бремя летних сельскохозяйственных работ ложилось на мать. Маленькие Васин и его братья были предоставлены сами себе, в интерпретации Васина — «брошены на произвол судьбы»: «Мы все полунагие бегали по улице, раз даже моему маленькому братишке чуть ли свинья соседа не откусила руку». Основное место в воспоминаниях Я.А.Васина отведено истории его учебы, время обучения в разных учебных заведениях и стало «времен'ными рубежами» его памяти. В деревне, где он жил, школы не было, мужики лишь подумывали ее строить, детям приходилось ходить в соседнюю деревню, а это стоило недешево. Васин писал, что некоторые зажиточные перестали пускать своих детей в школу. Вряд ли только из-за денег, скорее были нужны рабочие руки. Ведь отец Васи-

на, хотя был сам неграмотным, несмотря ни на что все же тратил заработанное летом на образование его старших братьев, поскольку понимал, как отмечал Васин, пользу учения. Сомнительно, чтобы зажиточные хозяева не понимали пользы учения. Здесь, вероятно, надо вести речь о разных жизненных стратегиях. Для экономически крепких хозяйств важнее было сохранить свой статус. Для бедного хозяйства в данном случае город, видимо, рассматривался как более реальная и надежная основа подъема собственного хозяйства.

Когда в 1914 г. самому Васину пришло время идти в школу, она уже была построена в его деревне. Настолько велико было стремление к знаниям, что в памяти Васина сохранились мельчайшие детали начала его ученичества, с подробным описанием в воспоминаниях каждого дня. Этот был действительно разительный переход от ежедневной беготни по грязной улице к ежедневным занятиям в классе. Особенно запомнился «первый день моего первого учебного года». Кроме общего молебна ничего больше не было, и учащиеся после него разошлись по домам, но торжественность момента в памяти запечатлелась навсегда. Васин сохранил в памяти то, что по его мнению, особенно ярко характеризовало дореволюционную начальную школу и ее нравы: ежедневный христианский ритуал молитвы о здравии «нашего царя, его жены и его матушки»; религиозность школьников, на коленях просивших бога помочь в учении; обязательность и всеобщность исповеди («каждый пост нас гурьбой гоняли к попу на исповедь, наказывая брать больше денег платить попу за исповедь»); страх перед инспекторской проверкой занятий и знаний. Чуть позже появился скепсис в отношении качества полученных знаний, но стремление учиться дальше не пропало.

В мае 1918 г. он окончил школу. К этому времени в семье произошли важные перемены: заработанных отцом и двумя старшими братьями денег хватило на по-

стройку кирпичного дома, обустройство хозяйства, в котором было 2 лошади, 2 коровы, свиньи, овцы, освобождение от тяжелых работ матери. И это в разгар войны и революции! Васин ничего не написал об этих событиях, его память сосредоточена только на учебе. Правда, этот район в годы гражданской войны находился в стороне от военных действий, разве что дезертиров было много. Так получилось, что весь 1919, как написал Васин, «учебный год» он пробыл дома, плетя лапти, бросая работу и убегая на целый день куда-нибудь с книгой. Ему доставалось от родителей. Так продолжалось и в следующем году: у крестьян заботы, полевые работы, а Васин не работал и все сидел с книгами, хотя у него и было их всего-то две. Но он их все время читал, и вновь его ругали.

И тут в памяти Васина всплывает революция, но лишь потому, что помещиков выселили из имений и в одном из имений открыли школу второй ступени, где он с осени 1920 г. стал учиться. Школы второй ступени были составной частью общеобразовательной системы, установившейся с революцией. Обучение в них продолжалось 7 лет, тогда как в школах первой ступени — 5 лет.

Тут уже революция появилась как рубеж, делящий учебу на два этапа по характеру и качеству обучения. До революции была сплошная «священная история», после революции — немецкий язык и естествознание. Ходить на занятия в эту школу Васину приходилось одному, другие дети не ходили, хотя обучение было бесплатным. «Пыль, вьюга, мороз мне были все нипочем, и я несмотря на дурную погоду очень аккуратно посещал занятия. И вся холодная суровая зима мне показалась за маленький солнечный весенний день,» — вспоминал Я.Васин. В 1921 г. школа оказалась под угрозой закрытия, вновь встал вопрос, где ему продолжать учебу. Отец уже был серьезно обеспокоен этим. И тут неожиданно выход был найден. На свадьбу старшего брата Васина приехала из соседней Тульской губернии тетка, которая и предло-

жила взять к себе Якова. Жила тетка в небольшом уездном городе Одоеве, где в то время была школа второй ступени. И тут необходимо сделать маленькое лирическое отступление.

Одоев — родина деда и матери автора этих строк, здесь похоронен ее прадед. Это старинный русский город, возникший в XIV в. на высоком берегу реки Упы, притоке Оки. Кстати, сама Тула — центр прежней губернии и современной области, тоже расположена на Упе, теперь довольно узкой, а некогда весьма полноводной. Во всяком случае, войска под предводительством крестьянского вожака Ивана Болотникова в начале XVII века делали мощные запруды на Упе, чтобы захватить тульский Кремль. Нечто и в самом Одоеве на Упе было много мельниц и запруд, а сейчас река заметно обмелела, заросла, и лишь любители сидят по берегам с удочками, вылавливая окуней, щучек и даже, если повезет, судачков. В древности город был крепостью, защищавшей земли русского государства от набегов татаро-монгольских и польского-литовских войск, а потом превратился в обычный тихий и уютный провинциальный уездный городок. Расположенный в 20 верстах от железной дороги, он жил своей размеренной жизнью.

Автобиография Я.А.Васина с одной стороны — неординарна, однако узнаваема, поскольку в одном документе объединилось многое из того, что было разбросано отдельными фразами по другим автобиографиям. Знакомое название «Одоев», появившееся в документе, вызвало удивительное чувство родства по отношению к чужому человеку. Любопытно, но раньше (вот одно из ключевых слов памяти , слово-ловушка!) при работе в Тульском областном архиве с документами губернского и уездного земельных отделов за 20-е годы, встречая название «Одоев», автор не испытывал такого трепета. Да, было интересно встретить документ, появившийся в дорогих местах, но не более. Сколько подобных доку-

ментов встречается на пути исследователя! Читаешь автобиографию крестьянина из Тамбовской губернии, и сразу вспоминаешь извилистые берега Цны, или разбросанные по холмам деревни Липовка и Красивка, или грандиозный, как бы не по размеру провинциальному Моршанску городской собой. Встречается письмо крестьянина из Вологодской губернии, и в памяти тут же возникают тихие закаты на Сухоне, золотая шекснинская стерлядь, величественные силуэты церквей Великого Устюга.

Автобиография А.Васина читалась как интересный, во многом типичный документ эпохи. Знакомое, вернее родное, название, встреченное в документе, неожиданно вывело отношения «источник — исследователь» на совершенно иной уровень. Память источника и личная память исследователя совпали, сомкнулись. На самом деле одоевскому периоду своей жизни автор уделяет не очень много места. Конечно, ему, подростку, никогда, видимо, ранее не видевшему город воочию, все было любопытно, вновь. В памяти Васина осталось состояние напряженного ожидания, которое не покидало его вплоть до приезда в Одоев. Городские дома — а они в центре Одоева преимущественно двухэтажные, полностью кирпичные или с кирпичным первым этажом — показались ему небоскребами по сравнению с деревенскими домами. Рисует картину Одоева того времени в своих воспоминаниях и дочь местных помещиков Боголеповых, усадьба которых, находившаяся в нескольких верстах от города, была разграблена крестьянами в 1917 г.: «Одоев в это время был небольшим уездным городком на высоком берегу Упы, очень чистеньким и хорошо обустроенным, каким-то нарядным. Большая часть домов была деревянной или полукаменной-полудеревянной, имелись и довольно большие каменные купеческие дома. На главной улице — лавки с разными товарами. Улицы были мощеные, с земляными дорожками-тротуарами. Город

утопал в фруктовых садах. Каждый дом обязательной имел такой сад. В городе было пять церквей. Ходили во все, за исключением одной, отдаленной». Сами Боголеповы с осени 1916 г. по 1921 г. жили в самом городе, где в 1916 г. ими был куплен большой двухэтажный дом¹³⁴.

Интересно, что поэт Н.Г.Полетаев, уроженец Одоева, в стихотворении «Одоевские розы», написанном в 1923 г., то есть в те же годы, когда Я.Васин впервые увидел город, представил Одоев иным — старым, купеческим, с его «мучными лабазами» и «кривыми гнилыми заборами»¹³⁵.

Еще больше Васина заинтересовало то, что в городе было много церквей, близко отстоявших от квартиры тетки, и он мог каждое воскресенье ходить в церковь. Будь это написано о каком-то другом городке, знакомом и тем более незнакомом, возможно, автор не стала бы заострять внимание на данном сюжете. Просто по этому замечанию Васина можно ясно представить ту часть города, в какой жила его тетка и где он собирался — даже мечтал, как он отметил, — жить весело. Каждый год, приезжая в Одоев, пишушая эти строки ходит по тем же самым улицам, по которым ходил Васин, правда, церкви стоят перестроенные, занятые гражданскими службами. Кстати, и дом Боголеповых, до сих пор сохранившийся — правда, там давно живут другие люди — находился в этой же части города.

На второй день своего приезда Васин пошел в школу второй ступени. Здание ее также сохранилось до сих, и в нем по-прежнему школа, и мимо этой школы также случается проходить несколько раз в день. Дедушка и бабушка автора окончили ее годом раньше, чем в нее поступил учиться Васин, но вполне возможно, что они сталкивались на улице, а может быть, были знакомы. Как знать? Правда, разница в возрасте, разное социальное положение давали мало шансов для такой встречи. Я.Васину, например, сразу бросилось в глаза свое

внешнее отличие от некоторых учеников: «Вошедши в школу, я увидел группу учеников, гулявших по коридору. Все ученики были чисто убраны, так как они все сынки и дочки купцов и попов. Тогда я сразу почувствовал, что нахожусь не в своем стаде».

Конечно, в одоевской школе второй ступени учились дети разных сословий, преимущественно, кстати, мещан (дед автора этих строк происходил из мещан). Уже упоминавшаяся А.В.Боголепова (кстати, ее отец В.М.Боголепов до 1918 г. преподавал в той же школе, точнее, тогда — гимназии) отмечала в своих воспоминаниях: «Население — частью мещане, много ремесленников». Просто любопытно само восприятие деревенским подростком городской среды.

Очень хорошо переданы чувства крестьянского паренька, попавшего в непривычную, чужую обстановку. Учиться было тяжело, несмотря на то, что в своей деревенской школе Васин проявлял, судя по всему, большие способности к учебе. Васин с трудом одолел программу своего класса, и на лето получил задание написать десять сочинений. Но если в прежние годы по своему малолетству он мог попросту уклониться от работы по хозяйству и читать, то теперь он стал «взрослым мальчиком»: «В рабочие дни, как всем известно, в крестьянстве писать взрослому мальчику уже некогда, а потому как принадлежащий к таковому во время рабочих дней писать эти сочинения не мог».

И все-таки Васин справился с домашним заданием, на другой год учеба пошла легче, да и он чувствовал себя уже своим среди учащихся одоевской школы. Узнал о комсомоле, стал бывать на комсомольских собраниях, а под влиянием старшего брата-коммуниста вскоре перестал верить в бога и вступил в комсомол, чтобы «политически воспитаться и стать полезным членом для общества». Кстати, вступление в комсомол резко изменило самооощущение Васина. Еще недавно он не отде-

лял себя от крестьян, вместе с мужиками косил луга, ездил пахать, боронить. Правда, его постоянное желание учиться, быть с книгой было в какой-то мере и формой вызова его среде. Вступив в комсомол, он стал «чувствовать (подч. нами — И.К.) себя как комсомолец и исполнять все требования, которые требуются от комсомольца — это не курить и не пить самогонку, которая очень распространена среди населения», то есть ощутил себя некрестьянином или не вполне крестьянином. Уже не с мужиками, а с крестьянами проводил он воспитательно-агитационные беседы о вреде самогона и табака. Уже об этом, а не о работе в поле вспоминал он, когда описывал свои летние каникулы.

С великим трудом Васин все же окончил одоევскую школу второй ступени в 1924 г. и поступил в Калужский сельскохозяйственный техникум. Как сложилась его судьба? Нашлось ли вновь место Одоеву в ней? Хотелось бы узнать.

* * *

Другим селькорам при написании автобиографии было важно показать приверженность новому строю, поэтому они описывали свое восхождение по ступеням советской или партийной лестницы, отмечая попутно получение элементарного образования. Эти крестьяне также порывали с патриархальным миром общины, и с революцией увидели шанс покинуть ее навсегда, присоединяясь к бюрократии. Так индивидуальная жизнь планировалась в терминах карьеры. В литературе отмечается, что особенно показательными в этом отношении были два типа крестьян. Первый был отходником, второй — солдатом, оба они в революцию вернулись домой, в деревню, присоединившись к новой советс-

кой и партийной бюрократии (что было типично для биографии множества областных советских и партийных лидеров). Это была когорта 18-35-летних крестьян, прошедших через сельские школы до 1914 года ¹³⁶.

Партийная работа становилась желанной альтернативой хлебопашеству. Многие, благодаря этому, могли продолжить учебу, в частности на рабфаках. Все, кто описывал подобный путь в автобиографиях, считали обязательным отметить все многочисленные должности, которые они занимали одновременно в системе власти и общественных организаций. Их сведения о себе не столько скупы (напротив, они подробно, если не сказать — скрупулезно — перечисляли все свои должности), сколько сухи и педантичны. Эти кандидаты в селькоры гораздо больше и лучше понимали, какие автобиографии нужны новой власти, неважно, что писали их для газеты. Ведь газета — из центра, от власти ¹³⁷.

Наконец, еще один принцип описания жизни — в соответствии с развитием собственного крестьянского хозяйства, поскольку корреспондент собирался стать *сельским* корреспондентом. Некоторые крестьяне свою автобиографию начинали непосредственно с описания того, сколько земли было у их родителей ; описал свое хозяйство — «изба ветхая, хлеба нет» — с указанием точного количества овса, ржи, гречи, картофеля крестьянин Рязанской губернии ¹³⁸.

* * *

В автобиографиях — штрихами, набросками — нашла отражение память целого поколения, которое строило и защищало советское общество. В них важнейшие события сменяют в памяти одно другое — аграрная революция , первая мировая война, гражданская война,

советское строительство¹³⁹. Камынин Т.Т. (1867 года рождения, Тамбовская губерния) замечал: «если все описат, то нужно книгу написат»¹⁴⁰.

Первая мировая война и особенно революция 1917 г. стали заметными рубежами жизни и памяти. Революция выступает важнейшим коллективным рубежом памяти, хотя в какой-то степени может «соперничать» с такими индивидуальными рубежами, как годы начала и окончания учебы. Причем под революцией имелось в виду в одних случаях — процесс смены власти, процесс достаточно длительный, длившийся по крайней мере весь 1917 год, в других — наделение крестьян землей, в третьих — демократизация образования.

В весьма типичной для селькора автобиографии И.Н.Анисимова (1898 года рождения, Череповецкая губерния) представлены как раз эти оба рубежа. И.Н.Анисимов родился в бедной крестьянской семье. Когда достиг 10-летнего возраста, был отдан учиться. Учение давалось хорошо. После трех лет учебы Анисимов просил отца отдать его в городское училище, но отец не пустил, «оставил работать в своем крестьянстве», и в таком положении Анисимов находился до военной службы. Он даже немного «захватил Царской Службы» (так в тексте — И.К.), к сожалению, не указывая, где служил точно, отметил точные сроки — с 4 по 27 февраля 1917 г. Наконец, «подошла революция, и жизнь стала по новому, то есть лучше». Революционизирующее воздействие большевистской пропаганды на молодого солдата было, по видимому, столь велико, что это буквально врезалось в память: «Я узнал тогда, что царская неправильно вела порядки и теперь думаю жить по новому вообще помогать этой советской власти, чем только возможно» Для А.И.Канобеева (1895 года рождения, Тамбовская губерния) революция «открыла занавес» (видимо, имеется в виду — сняла с глаз завесу, пелену или открыла занавес новой жизни — И.К.)¹⁴¹.

Для тех, кому в середине 20-х годов было по 16-17 лет, революция по сути а priori была точкой отсчета. Весьма характерно заявление Анохина Ф.И. из Пензенской губернии: «Моя автобиография краткая и ясная. Я, конечно, не участвовал в революции, потому что я был еще молод. Я *помню* (подчеркнуто нами – И.К.) только как сквозь сон...» Данная автобиография, как и приведенные выше служат прекрасным примером взаимодействия исторической памяти конкретного человека, формируемой на основе личного опыта и памяти коллективной, более того, памяти официальной. Так, Анохин дальше продолжает: «*Но теперь я ее только узнал, когда учился в четвертом классе*» (подч. нами – И.К.) Любопытно, что Ф.Анохин заполнял анкету дважды – в январе и апреле 1928 г.. И вновь, во второй анкете мы видим это сочетание исторической памяти, причем конкретизируются и моменты личной памяти, и знания, полученные в школе: «Мне было восемь годов отроду, я чуть помню как скрость сна, как крестьяне громили помещиков, жгли их дома, и громили их усадьбы, этот был день пролетарской Революции» . Именно в школе личные яркие воспоминания были облечены в рокошущее слово «Революция», писать которое, безусловно надлежало с заглавной буквы ¹⁴².

О влиянии прочитанной литературы, газет на формирование исторических знаний и исторической памяти писали селькоры из разных мест. Большую роль играла и служба в Красной Армии ¹⁴³. Так в жизнь крестьян входила «организованная по-советски» официальная память.

3. Память как изобретение традиции

Революционные преобразования в России в XX веке, осуществлявшиеся в форме радикальных идей, подпитывались и социальной памятью. Радикальные партии

обращались к опыту освободительной борьбы трудящихся масс. Последние в свою очередь помнили десятилетия страданий и унижений. Апелляцией к опыту мировой и отечественной культуры деятели культуры мотивировали свои пристрастия к радикализму и общественному перевороту, свои планы решительного разрушения «старого мира» ради построения невиданного нового. Память формировала авангардизм в политике, а он в свою очередь нашел яркое выражение в конструировании новой памяти. После революции власть продемонстрировала те же принципы обращения с памятью народа, присущие прежней царской власти, сделав, разумеется другой акцент на содержательной ее стороне. Правда, сначала власть ощутила потребность в памяти народа. На это время приходится бурный рост краеведческого движения, нацеленного на изучение и исторического прошлого «малой родины» на основе свидетельств местных жителей, социологических обследований, и характера и свойств самой народной памяти. Собирались многочисленные свидетельства о дореволюционном и революционном времени, часть из них публиковалась в отредактированном виде. Однако редакции газет и журналов — самых действенных каналов связи с беспартийной массой, — были полны писем, автобиографий, воспоминаний, несших в себе еще следы стихийной памяти. Власть заручалась поддержкой рядовых участников или свидетелей революционных событий, брала их в свидетели, с их помощью и при их непосредственном участии писала свою, официальную версию.

При этом официальной памяти о революционных событиях в деревне в 1917 г. противостояли разные памяти крестьян. Официальная версия призывала тех, кто вспоминал, осветить вопрос о том, как крестьянство потеряло доверие к буржуазному правительству и соглашательским партиям и прочно стало на сторону большевиков. Опубликованные материалы вполне соот-

ветствовали подобному взгляду. Авторы таких воспоминаний — сельские корреспонденты — вполне сознательно (революция становилась частью их жизни) вспоминали то, что было нужно власти. Отсюда — и спрямленность классовых оценок, нелицеприятные эпитеты в адрес помещиков («пауки», «свора», «злые хищники»), эсеров и меньшевиков («двуликие предатели»), ненависть к интеллигенции вообще.

Когда присланные в редакции газет (прежде всего в «Крестьянскую газету») воспоминания крестьян публиковались, отмечались недостатки этих воспоминаний как исторического документа: отсутствие точных, а нередко и приблизительных хронологических дат описываемых событий, некоторая хаотичность и недостаточная связанность описания, слишком элементарная и субъективная оценка как политических событий, так и экономических факторов, обусловивших революцию, неполнота и неудачное изложение фактического материала, перенесение в прошлое переживаний и

фактов более позднего времени¹⁴⁴. Позволим предположить, что именно эти «недостатки» отражают во многом особенность памяти крестьян. Воспоминания, видимо, не укладывались в прокрустово ложе официальной схемы событий революции, память крестьян имела еще, так сказать, перевозданный вид. Однако и неопубликованные, и опубликованные воспоминания исповедывали свою логику, творили свою мифологию.

Если в опубликованных документах — более близких официальной версии — значительное внимание уделялось политической стороне проблемы (противостояние большевиков и их политических оппонентов), то в воспоминаниях, так и оставшихся неопубликованными, на первом месте стоял крестьянский опыт сопротивления — власти, помещикам, всем, кто стоял поперек крестьянскому стремлению обрести землю и волю.

При этом своей памятью крестьяне постоянно обращались к событиям начала XX в., особенно 1905 г., когда приобретался этот разнообразный опыт сопротивления.

Память крестьян отмечала пределы понимания дозволенности в их поведении в период нарастания аграрного движения. Первый сигнал — свержение царизма. В памяти сохранилось крестьянское колебание («нельзя-можно»), ожидание спущенной сверху, разрешенной земли. Поэтому «падению царизма поверили не сразу»; «наш забитый крестьянин с ужасом узнал о случившемся»; «рухнуло царское проклятое самодержавие...Красной струйкой побежало слово «захват» по деревням. Но еще боялись мужики выступать открыто»; «народ был ошеломлен вестью... и в разговоре каждый крестьянин пугливо озирался по сторонам ... Около двух недель крестьяне не могли поверить этому. А затем громадный взрыв 300 лет сдерживаемого народного негодования всколыхнул все деревни, увлек, закрутил в своем стремительном потоке людей»¹⁴⁵.

Страх, боязнь — все это сохранилось в памяти как модель поведения людей. Реконструкция прошлого в действительности не является свободной. Она ограничена, как правило, прошлым опытом, который невозможно игнорировать — как бы ни хотелось. Наиболее сильной частью такого опыта являются перенесенные травмы, почему люди оказываются неспособными воспринимать что-либо без страха, гнева и боли. При этом память — коллективная и индивидуальная — настолько могут быть проникнуты страхом, что становятся «хроническим» условием воспоминаний и жизни. Так возникает, в частности, «травмирующий опыт нации» или отдельной группы, когда в культуре, в памяти доминируют представления о том или ином периоде (так, травмирующий опытом нации является былое рабство в Америке или крепостное право в России)¹⁴⁶.

Как и все социальное — памяти создаются человеческим бытием. Хотя не все памяти конструируются для специфических целей, некоторые — определено. Поэтому нельзя сказать, что память — и социальная память в особенности — естественное и нейтральное воспоминание прошлого, манипуляции здесь возможны. Однако нельзя сказать, что манипулирование обязательно продуцирует ложь. Память не просто естественна (по иронии, один ключевой знак, свидетельствующий об успехе народных воспоминаний — то, что *память кажется естественной*), она спонтанна, поэтому не укладывается в прокрустово ложе организованной памяти ¹⁴⁷.

Именно этим интересны воспоминания селькоров. Начав с описания помещичьих хозяйств, скрупулезным перечислением всех хозяйственных ресурсов помещичьих экономий, описывая картину разворачивающейся аграрной революции, авторы воспоминаний ведут свою «крестьянскую линию». Лучше всего и сильнее всего крестьяне помнили, как грабили и делили барское добро. В памяти крестьян сохранилось, как росла их самоорганизация, как укреплялась община.

В проводимых крестьянским сообществом грабежах помещиков проявилась суть организованности помужички, а не по-пролетарски. При этом скорее можно вести речь о бессознательном, чем о несознательном. Уж очень ярко, рельефно проявилось архаическое, природное. Вряд ли подобные воспоминания могли попасть в официальный сборник документов о крестьянском движении в 1917 г. Туда вошли воспоминания иного характера, позволяющие противопоставить организованное по-эсеровски крестьянство крестьянству, организованному по-большевистски, показать руководящую роль большевистской партии в революции. Сила крестьянской общины в 20-е годы пугала власть. На XV съезде ВКП(б) речь даже шла о двоевластии в деревне, власти земельного общества (общины) и сельс-

ких советов, о необходимости подчинения первых последним. Дело доходило до того, что только три процента сельских советов имели самостоятельный бюджет, остальные финансировались за счет средств, собранных по самообложению в земельных обществах ¹⁴⁸. А тут в воспоминаниях селькора, советского по сути человека, с каждой страницы дышит крестьянское. Память о некогда проявившей себя сплоченности могла быть опасной. И дело было, конечно, не столько в партии эсеров, преуспевших по части агитации в деревне в 1917 г. (об эсерах вспоминали многие, писавшие воспоминания), сколько в самих крестьянах, продемонстрировавших свою солидарность в борьбе с другим миром, другой культурой. Память становилась актуализированным прошлым.

Форма, в какой сообщества отвечают на конфликт, определяется тем, как это сообщество отвечало на конфликт в прошлом ¹⁴⁹. Селькоры описывали все элементы крестьянского сопротивления, использования «оружия слабых»: вначале тихие действия — воровство в помещичьих лесах, причем не отдельно, а группами — это и готовность защититься, и элементы круговой поруки, затем — решительные действия, «штурм помещичьих имений» со всеми вытекающими последствиями по законам подобного жанра.

Власть все решительнее вторгалась в память стихийную — коллективную и индивидуальную, подминая ее под себя. Сначала устное, а затем печатное слово — будь то агитпроповский листок, статья в газете или журнале, учебник грамоты или полиграммы, обычный школьный учебник — все использовалось для формирования исторического сознания масс. Память постепенно приобретала характер «организованной памяти». Формировалась официальная история страны, народа; целая система советской обрядности, приобщавшая человека к новой системе ценностей. Большое значение придавалось революционным праздникам. Празднова-

ние годовщин революции всегда рассматривалось властью как прекрасный повод, чтобы включить народные массы в орбиту новой идеологии.

Как известно, праздники занимали особое место в народной культуре. Крестьянская память проявляла себя в праздничном ритуале, но также и закреплялась этим ритуалом. Источником праздничного мироощущения как раз и было приобщение к образу жизни предков. За многие века сформировался огромный пласт народной культуры, включающий в себя разнообразные по форме и выражению обычаи и обряды. Понятие праздника в крестьянской среде было неразрывно связано с понятием нерабочего дня, сами праздники были приурочены к аграрному календарю. Праздность была освящена традицией, оправдана общественным мнением. Во время традиционных праздников деревня объединялась, в эти дни вспоминали о бедных и убогих и спешили угостить их куличами и пирогами. При этом одни праздники были строгими и сдержанным, другие – полными шума, смеха и веселья, сопровождалась обильными возлияниями и действительно выполняли роль клапана в страдной жизни крестьянина. Конечно, крестьянские праздники не стоит идеализировать, они нередко заканчивались потасовками, драками, поножовщиной.

Что касается советских праздников, то они, с самого начала своего существования полностью подчиненные интересам государства, являли собой пример политической кампании. В основу праздников был положен классовый принцип, идеология противоборства со «старым миром», они сознательно противопоставлялись народной культуре. Посвященный «воспоминаниям об исторических и общественных событиях», он был нацелен в будущее и мыслился как мирная форма борьбы за «коммунистическое завтра». Старшее поколение в массе не воспринимало советские торжества как праздники¹⁵⁰. В середине 20-х годов, как отмечали современ-

ники, революционные праздники у основной массы сельского населения проходили за работой ¹⁵¹. Так сталкивались два вида памяти.

Октябрьским праздникам принадлежало основное место в структуре новых советских праздников. В 1927 г. празднование 10-летнего юбилея Советской власти вылилось в грандиозный ритуал воспоминания. «Крестьянской газетой» был проведен Всесоюзный крестьянский митинг, на который крестьяне присылали свои письма-выступления. На митинг поступило несколько тысяч крестьянских писем. Целью митинга было показать на основе крестьянских свидетельств достижения революции и новой власти. Власти было важно, чтобы об этих достижениях было сказано самими крестьянами.

Крестьяне писали свою историю — дореволюционную и послереволюционную, но не всегда удавалось писать самим, все больше получалось под диктовку власти. Во всяком случае нередко были аргументы — «так говорит Калинин». Публичная память влияет на индивидуальную память, даже если каждый активно конструирует его собственную индивидуальную память. Социальные памяти должны включать и публичные представления (видения) прошлого, и памяти социального прошлого, конструируемые индивидуально, и они реально не могут быть разделены ¹⁵².

Десятилетие советской власти в 1927 г. стало своего рода апофеозом крестьянской памяти во всех ее проявлениях, когда отчетливо высветились многочисленные грани этой памяти, став одновременно и неким рубежом официоза. Пожалуй, впервые на уровне подобного общения с крестьянской массой власть столь недвусмысленно заявила о своем праве на истину и представлении о памяти. Тон митинга был задан М.И.Калининым, который хотя и призвал крестьян к диалогу и обсуждению существующих проблем, тем не менее ясно дал понять, чего хочет власть: «Что же каждый из нас может сказать

на десятом году жизни советского государства? Быстро ли мы растем? Насколько крестьяне считают правильной политику пролетарской власти в интересах рабочих и крестьян?

Найдется ли кто-либо из трудящихся, кто бы сказал на десятом году существования советской власти, что при царе было лучше? Если есть такой жалобщик, если есть такой плакун, пусть выйдет, выступит на нашем всесоюзном газетном митинге, пусть скажет»¹⁵³.

Письма, поступившие на митинг, публиковались в самой «Крестьянской газете», а затем составили основу сборника «Крестьяне о советской власти». В сборник вошли, по мнению редакции, наиболее характерные, типичные письма. Поступившие письма не были прямыми воспоминаниями, память привлекалась в них в качестве важного, актуального компонента сознания и поведения крестьянской массы, прежде всего ее наиболее активной с точки зрения социалистического строительства, части.

Составителя сборника крестьянских писем в предисловии отмечали: «Казалось бы, что 10 лет советской власти совсем не такой уже продолжительный срок, чтобы забыть о кошмарном прошлом. Между тем оно начинает забываться крестьянами, веками находившимися под царским и помещичьим сапогом. От того ли, что прошлое было беспросветно-кошмарным и хочется окончательно вытравить его из памяти, или от того, что в советской деревне уже мало осталось такого, что напоминало бы крестьянству о недавнем прошлом, — но царское прошлое забывается... Уже крестьянин редко вспоминает о том, что у отца его помещик забрал жену и обменял ее на гончую собаку, оставив отца с двумя малолетними детьми, а если вспоминает об этом, то только потому, что жив еще сточетырехлетний старик-отец. Забывается крестьянами царская деревня. Напрасно забывается. Следует помнить, чтобы знать о т к у д а мы идем»¹⁵⁴.

Думается, образованные советские работники тут заблуждались. Крестьянство помнило очень многое, и когда наступила колхозная жизнь, многие вспомнили «проклятое царское прошлое», отыскивая в нем аналогии с советской действительностью: аббревиатуру «ВКП(б)» расшифровывали как «второе крепостное право (большеви́ков)». Подоплека же приведенного выше рассуждения в предисловии была другой — власти вообще нужно было, чтобы крестьяне забыли свое единоличное прошлое во имя светлого будущего. Память должна была стать основой новой идентичности. Не случайно предисловие завершалось следующей фразой: « Он (крестьянин — И.К.) твердо убедился в том, что советская власть — родная ему власть. Он забывает прошлое, но твердо знает, откуда ушел, куда ушел и насколько ушел, знает, что пройденный путь только значительная часть того, что осталось пройти, и он смело шагает вперед»¹⁵⁵.

Крестьяне всерьез восприняли призыв власти оценить происшедшие в обществе перемены. Понятно, что для них — а многие писали в газету впервые! — митинг был проявлением внимания власти к их нуждам и заботам, менял представления об отношениях «верхов» и «низов». Само возмoжность высказаться, сказать «свое неуклюжее, но веское слово», оценивалась весьма высоко и расценивалась как действительное завоевание революции. Для многих писем характерно использование таких оборотов, как «писать воспоминание корявым крестьянским языком», «пишет из темного, забитого уголка» — в них чувствуется засевшая в памяти приниженность, «второсортность». С другой стороны, крестьяне много и подробно вспоминали о бывших — в царское время — унижениях и издевательствах. С помощью памяти крестьяне стремились изжить пережитую ими некогда травму.

Письма крестьян строились по принципу «раньше — теперь». Те, кто вкладывал в понятие «теперь» позитивный смысл, использовали одни доводы, настраивали

свою память на одну волну, а те, для кого «раньше» имело позитивный смысл — другие доводы. Может быть, единственным исключением была земля, потому что о ней писали и те, и другие. Так или иначе, о коллективные воспоминания интерпретировали царское и советское время в терминах приобретения и потери ¹⁵⁶.

Для крестьян важнейшим позитивным проявлением «теперь» было установление народной власти, явление незнакомого прежде ощущения свободы и раскованности, чувства человеческого достоинства ¹⁵⁷.

В оценке «теперь» сохранились определенные фольклорные моменты — взять хотя бы рассуждения о том, *что десять лет советской власти пролетели как один день*, как сон. «Кажется, что Советская власть живет 100 лет» ¹⁵⁸. Власть не стала крестьян в этом разuverять, и сам М.И.Калинин не прочь был воспользоваться этим сравнением.

Приводились доводы стариков о новом «культурно-просветительном рае». Молодые в свою очередь ссылались на опыт стариков: «когда приходится слушать рассказы крестьян-стариков... так просто дрожь по всему телу муравьями пробегает»; «Старики говорят: «При царской власти в старину мы не нашивали сукна, а теперь видим, как жить-то легче стало» ¹⁵⁹.

Письма тех, кто писал в поддержку советской власти, как правило написаны грамотнее, хорошим почерком. Существовали письма, в которых личное воспоминание уходило на второй план. «Похожесть» таких воспоминаний — это результат отражения в массовом сознании общих для России проблем. Но это — и результат определенного восприятия конкретной частью населения тех или иных событий. В этом смысле память участников революционных событий организовывалась давно, исподволь. Память стала еще и показателем восприятия предшествующей официальной интерпретации событий. Таким образом, диалог велся в нужном власти направлении.

Агитпроповские брошюры, статьи в газетах, учебники грамоты и политграмоты — все это формировало взгляд на историю. Авторы воспоминаний даже стремятся попасть в это русло, личный опыт все более подчиняется опыту коллективному или становится его подтверждением. Создается впечатление, что это было что-то вроде «изложения с элементами сочинения», то есть авторы пересказывали, вернее, переписывали своими словами то, что уже публиковалось, добавляя в качестве примера что-нибудь из собственного опыта. Такие письма изобиловали литературными клише, оборотами, почерпнутыми из пропагандистской литературы.

В результате появлялась схема, которая могла незначительно варьироваться. И в то же время люди были убеждены в том, что писали, для них это была реальность освобождения от тяжелой обузы — помещиков и капиталистов, — «сидевших столетиями на народной спине».

Границы «раньше» расширились, и в него включалось крепостное право. Приводили воспоминания стариков о крепостном праве, в которых прежде всего были памятливы рассказы о наказаниях крестьян помещиками и об изуверской изобретательности последних). Крестьяне считали, что с отменой крепостного права, вплоть до революции, их положение и отношения с помещиками совершенно не изменились: помещики по-прежнему держали всех в страхе. Помнились тяжесть барского гнета, самодурство «пауков-помещиков», их «пустое» времяпрепровождение (прогулки, пикники, катания зимой на горках), деревенский уклад с молебнами, пьянством, кровопийцы-кулаки, обиралы-попы. Памятливы были крестьянам и сами годы революции и гражданской войны, из которых они вынесли прежде всего память о крови, истязаниях и надругательствах врагов ¹⁶⁰.

Десятилетний юбилей давал повод для оптимизма, уверенности, убежденности в абсолютной свободе и — «дешевизне» товаров, «как при царе» ¹⁶¹.

Воспоминания построены прежде всего на уровне чувств, а не фактов. Память и срабатывает на уровне эмоций. Кстати, критические письма отличались как раз преобладанием фактов, рациональной, а не эмоциональной оценкой прошлого и настоящего.

Крестьяне заново переживали то, что испытывали в революционное время.

И.К.Чулюканов из Рязанской губернии вспоминал свои впечатления подростка от рассказа отца об октябрьском перевороте. Отец говорил сдержанно от «старой дедовской привычки бояться урядника». Две недели прошло, как узнали о перевороте, но крестьяне все еще боялись, были уверены, что «опять повиснет над головами помещичья палка». И только с приходом солдат-фронтовиков в начале 1918 г. пошли свободные собрания: «И тут уж наши старики в полном разоблачении стали говорить про старый кровопитный режим»¹⁶².

Селькор из Владимирской губернии И.А.Куликов вспоминал старину с тяжелым чувством, с болью на сердце. Здесь и общие рассуждения о прежней жизни крестьян – барщине, плети урядника, свободно разгуливавшей по спинам мужиков. В памяти осталась каторжная работа батрака, от которой он, 10-летний мальчик, не мог восстановить силы за короткое время сна. Ему «крепко, словно слово», врезался в память случай, когда во дворе волостного правления он стал свидетелем того, как приехавшие казаки до полусмерти, «ни за что» нагайками избили крестьянина- бедняка. На него, 9-ти летнего, крики взрослого о пощаде произвели жуткое впечатление. Воспоминания Куликова построены как сценарий фильма: то общий, то крупный план. Не случайно он, поистине дитя XX века, смену событий революции, запечатлевшихся в его памяти, уподобляет сменам картин в кино: «Царя кровавого меняли лжесоциалисты меньшевики и эсеры, а там на меньшевистско-эсеровском бездорожье загромыхал ... Октябрь. Даль-

ше огненное кольцо, тяжелые годы для молодой Советской России. Калединых, Дутовых меняли Деникины, Колчаки. И, наконец, сломлены»¹⁶³.

А.А. Глебов из глухой вологодской деревни, жители которой до первой мировой войны дальше уездного города не выезжали и железной дороги не видели, вспоминал приметы прежней крестьянской жизни — недоимки: «Приходит старшина и уносит за недоимку самоваришко и живешь без чаю несколько времени»¹⁶⁴.

Самовар пришел в русскую деревню два века назад. Наряду с употреблением крепких горячительных напитков, чаепитие тоже стало символом русской жизни, правда символом добропорядочной, с достатком жизни. Появление самовара в доме означало повышение статуса крестьянской семьи. В бедных семьях воду для чая кипятили в чугунах. В крестьянской иерархии предметов домашнего обихода самовар занимал одно из ведущих мест. Общественные чайные — частные или кооперативные — пользовались неизменным успехом у крестьян. Позже, в годы коллективизации самовар достаточно часто упоминался среди реквизированных предметов, и важно, что о нем крестьяне всегда помнили. Впрочем, самовар за неуплату налога забирали и до революции, и в 20-е годы.

И.Столяров в «Записках русского крестьянина» вспоминал: «У нас для продажи с торгов за недоимки можно взять свинью и самовар. Об их существовании начальство знало. Родители мои считали для себя позором лишиться их и принимали всегда меры к их спасению. В первую очередь прятали самовар. Отец ехал брать займы деньги, свинью прятали в соседнем селе»¹⁶⁵.

Любопытно, что именно самовар в некоторых письмах выступает в качестве яркой приметы качества жизни «раньше» и «теперь». Для крестьянина Харитонова, было важно, например, что до революции жители его села покупали самовары, он даже помнил, что в 1914 г.

купили два самовара, а в 1915 г. — один. Хотя в 1916 г. уже никто из односельчан самовары не покупал, но на рынке продавались настоящие тульские самовары. Его возмущало, что на десятом году революции ни в одной казенной лавке самоваров он не видел, а потребность людей в них была ¹⁶⁶.

Но вернемся к письму А.А.Глебова. Его повествование течет в спокойном русле, как и подобает северному характеру, совсем в духе чайной неторопливой беседы: «Но дождались наши крестьяне светлого дня, то есть 1917 года, Октября. Заговорили по-другому. В 1917 и 1918 годах был голод, но в 1921 г. стали высевать больше и в 1923 г. совсем забыли голод. Раз стали сытые, то и давай двигать вперед. Растет кооперация. Перешли к улучшенной обработке, появились машины. В 1925-1926 г. стали заводить свиней, кушать свинину, а раньше их могли держать только одни буржуи и попы...».

Это письмо важно еще двумя моментами. Во-первых, понятие «сытно-голодно» вообще характерно для крестьянских воспоминаний, а XX век давал очень много, фигурально выражаясь, «пищи» для того, что память на голодные и неголодные годы, на еду вообще была цепкой. Впрочем, такая память в целом присуща крестьянству, а отечественный культурно-исторический процесс, проходивший в конкретных геоклиматических условиях, давал немало поводов для укрепления этой памяти и закрепления соответствующих поведенческих стереотипов.

Во-вторых, оно показательное в смысле человеческой способности «забывать» тяжелое. Ведь забывание часто связано с болью или чем-либо неприятным в жизни¹⁶⁷. К тому же, по логике авторов писем, страдания и лишения, выпавшие на их долю в годы революции и гражданской войны — позади; теперь же — мирное время, и советская власть много делает, чтобы деревня жила лучше.

Выступление селькора Д.М.Нефедова из Владимирской губернии на Всесоюзном крестьянском митинге было построено как воспоминание. Сначала он описал конфликты крестьян с местным священником на почве земельных дел. Затем описал события аграрной революции, захват крестьянами земли. Затем село стало строить новую жизнь. Поначалу дело не клеилось, так как советские органы были «засорены негодными элементами». А потом — наступило другое время. Обратим внимание на стиль изложения. Сначала в одном абзаце Д.М.Нефедов написал: «был 19-20-21-22 год с крестьян брали непосильный налог всем хлебом-мукой-картошкой-маслом-шерстью скотом — сеном, дровами, яйцами». Эту фразу он оборвал на полуслове, продолжая ее уже с нового абзаца — «всем, что производит труд крестьянина». Гражданская война оставила о себе память тела: «Итак эти годы подорвали крестьян что написать невозможно если спросишь одного нашива крестьянина Зараева С.И. который без ног почему утебя, и он говорит, что миня 19 год оставил безног». Слов Нефедову, чтобы описать продрозверстку, понадобилось немного, она у него получилась как бы даже будничной. Приписка в конце письма — «уважаемый редактор, прошу вас напечатать это мое слово и прошу вас не пересочиняйте ее» — многое объясняет. Скорее всего, он просто не решился написать о «военном коммунизме» подробнее. И тем не менее дальше Нефедов спокойно и незатейливо продолжает описывать изменения в крестьянской жизни: «Был 24 год. Берюкратизм пошел на убыль. Из волости неугодных элементов выгнали. А наше с.Бибирево пошло по культурному руслу». Здесь и организация молочной артели, и землеустройство, и ликвидация «на все 100%» неграмотности, и газеты в селе. И в завершении письма приписка — «да здравствует серп и молот, да будет проклят двухглавый орел»¹⁶⁸.

Гражданская война и «военный коммунизм» оставили в памяти крестьян неизгладимый след — ведь это был первый опыт общения с новой властью, опыт мобилизаций и реквизиций. Но справедливость торжествовала — власть стала хорошо обходиться с крестьянством ¹⁶⁹.

Для тех же, кто писал, что при царе крестьянам жилось лучше, были найдены ярлыки. Письмо крестьянина Н.Ф.Еличева из с.Макарова Ростовской волости Владимирской губернии было признано «кулацкой» вылазкой, заведомой ложью. Атмосфера нетерпимости, неприятия противоположной позиции чувствовалась очень сильно во время митинга и явно подогревалась сверху.

Для Еличева и тех, кто поддержал его, сравнение «раньше-теперь» основывалось на крестьянском практицизме, стремлении скрупулезно подсчитать свои выгоды и просчеты ¹⁷⁰. Недовольных ценами и налогами крестьян в целом хватало, но речь Еличева своей аргументированностью и точностью попадания в цель, а главное — критикой власти — была использована в качестве своеобразной мишени удара по классовому врагу. В анонимном письме на митинг отмечалось, что Калинин «заткнул рот» всем несогласным, в то время как Еличев вовсе не утверждал, что раньше было лучше, он сопоставил цены и систему организации торговли. Автор призывал вождей «зарубить и записать на память» слова Еличева о том, что к крестьянству надо относиться как к самому дороговому, что есть в стране. Анонимный автор упрекал тех, кто для сравнения «раньше — теперь» обращался к далекому пореформенному времени или даже крепостному праву. «Мало ли тогда что было». Для него памяты 1919-1921 годы, когда «пожалуй, было похуже, у крестьян отбирали последнюю картошку, а хлеба не было». Чтобы сравнить современность с прежним временем, надо, по его мнению, вернуться не на 60-70 лет назад, а на 15-20: «Тогда все сказали бы при царе лучше не стой

в очереди за 5 ф. муки 2 часа. Всего было, как говорится, «по уши». *«Все равно, какая бы власть ни была, нам крестьянам пахать»*, — заявлял он ¹⁷¹.

Однако увлеченные полемикой по поводу достижений и просчетов Советской власти крестьяне вдруг ощутили, что жизнь пошла как-то в ином направлении. Вдруг обнаружился новая граница «раньше-теперь». Весьма показательное следующее заявление, высказанное в конце 1929 г. в письме в «Крестьянскую газету»: «Я вспоминаю, что было до 1928 г. Крестьяне сами без всякого давления бегали за землей, как бы больше посеять. А теперь насильно заставляют сеять, палкой заставляют крестьянина работать» ¹⁷².

Если до конца 20-х годов крестьяне сравнивали условия своей жизни в советской России с дореволюционным периодом, то рубеж 20-30-х годов стал для крестьян и рубежом их памяти.

II. КРЕСТЬЯНСТВО МЕЖДУ ПАМЯТЬЮ И ИСТОРИЕЙ

Преобразования, происшедшие в стране на рубеже 20-х-30-х годов, прежде всего коллективизация, связанные с ними политические репрессии, неоднозначно повлияли на социальную память общества и его отдельных групп. С укреплением советской системы и ее идеологической подпиткой, не допуская инакомыслия, меняется и сама память, и отношение людей к памяти о собственном прошлом. В одних случаях память вместе с исчезновением из жизни людей просто растворяется, уходит в небытие; в других – несмотря на физическое уничтожение человека память как фантом живет среди людей; в третьих – память начинает уходить в подполье; в четвертых – все более трансформируется под влиянием внешних обстоятельств. Все больше традиционные способы трансляции памяти заменялись официальной идеологией, государственной системой воспитания и образования. Социальный тип советской эпохи был устремлен в будущее, прошлое по большому счету скрывало, мешало. Вырваться из деревни, избавиться от своего крестьянского прошлого становилось мечтой нескольких поколений советских людей. Потеряла или приобрела сама память вследствие того, что культура народных масс стала письменной?

Коллективизация на первый план выдвинула проблему утраты крестьянского образа жизни — «свободного труда на свободной земле», оставив его в памяти как идеал. Это нашло, в частности, отражение в фольклоре: в частушках 30-х — 50-х годов неоднократно упоминались «колхозные полосы», как воспоминание о полосках единоличной земли, в то время как в колхозах землю запахивали поперек полос. В реальной раннеколхозной жизни понятие о «своей земле» сгладилось не скоро ¹⁷³.

Официальная пропаганда, чтобы убедить крестьян в выгодности совместного пользования землей, довольно часто обращалась к памяти крестьян, используя для этих целей и фольклор («Межи да грани- ссоры да брани»), вызывая в ней воспоминания о ссорах и столкновениях на меже, разделявшей крестьянские единоличные полосы, о воровстве (запахивании) земли крестьянами друг у друга ¹⁷⁴.

Коллективизация нанесла мощный удар крестьянской памяти в главном — разрушении крестьянского образа жизни: прикрепление к земле (а колхозный строй длительное время воспринимался самими колхозниками как новое крепостное право) стало одновременно началом ухода от земли. В раннеколхозное довоенное время крестьяне пытались переносить некоторые из трудовых традиций, характерных для единоличной общинной деревни, в практику колхозной жизни: работа от зари до зари, «дожинки», привлечение к труду на полях и фермах детей, совместные трапезы по окончании работ¹⁷⁵. Многие традиции, впрочем, были одновременно и реакцией на новации власти, чрезмерную эксплуатацию человеческих ресурсов в колхозах при минимальной механизации труда.

Так, до тех пор, пока уборка урожая не была механизирована, пока жали вручную, серпом, сохранялась традиция «завивания» колосьев — надежда на будущий урожай. Вообще, в раннеколхозное время, пока еще

были живы старики, крестьянский опыт пытались перенести на колхозные поля. Однако техника на полях и боязнь пройти по свежевспаханному полю даже в лаптях, чтобы не помять — явления несовместимые.

По мере того, как раскрестьянивание усиливалось давлением власти на крестьянское подворье, укрупнением колхозов и преобразованием колхозы в совхозы, слабее становилась память о земле, усиливалось чувство раздвоенности в отношении земли. Уже обследования деревни Центральной России, проводившиеся в 60-е годы, показали, что «только у старших поколений еще живы воспоминания о далеких временах, сколь острой проблемой была земля.» Эта память, по мнению исследователей, позволяла отчетливее воспринимать всю меру перемен, принесенных Советской властью. Поэтому социальное чувство стариков к земле было более острым и глубоким. Старшее поколение прекрасно помнило, что «земля» и в физическом, и в метафорическом смысле была тем словом, которое давало крестьянам надежду на будущее и уверенность в завтрашнем дне. Не случайно самым сильным впечатлением детства и юности тверской колхозницы М.Бобровой, сохранившимся вплоть до 60-х годов, было то, что отец все старался скопить деньги, чтобы купить землю. Деньги, вырученные от продажи зерна и льна, не разрешал тратить на одежду, поэтому одевались плохо, спали на дерюгах ¹⁷⁶.

Вместе с тем, отмечалось, что «нынешнее поколение крестьян не помнит «земельного голода». Так, отмечалось, что большинство молодых колхозников никогда не видело «Акта передачи земли в вечное пользование». Молодые люди 16 лет «автоматически» становились колхозниками, то есть прикреплялись к колхозу. Их чувству к земле как раз не хватало сравнения, тем более основанному на личном опыте. Исследователи были очень осторожны в своих выводах: «порой приходится слышать от некоторых людей, что раз земля государственная, она — ничья» ¹⁷⁷.

Удивительные метаморфозы происходили с крестьянским сознанием, чутко реагирующим на любую несправедливость по отношению к нему. Некогда представление о том, что земля — ничья, Божия питало силу аграрной революции, трансформация же формулы общенародного достояния в форму государственной собственности породило безразличное отношение к земле.

Исход из деревни был наиболее масштабной формой крестьянского протеста. Вместе с тем, город всегда манил крестьян. Ведь и поколения крестьянских отцов хранили память о связи с городом: местом торговли и праздника, местом реализации жизненных возможностей, отличных от повторения жизни отцов¹⁷⁸.

Советская культурная модель складывалась под влиянием общинной традиции, которую несли с собой выходящие из деревни в город¹⁷⁹. Бывшие крестьяне «несли с собой в новую жизнь свою социальность и историю». Становясь некрестьянами, они тем не менее сохраняли в себе родовые, «материнские» черты: феноменальную выносливость, физическую крепость, жизнелюбие, привычку жизни вместе. Основанная деревенской традицией субкультура крестьянских мигрантов в городе могла быть трансформирована, но не могла изгладиться из ее памяти. В этой культуре бывшие крестьяне черпали необходимые элементы их прошлого, позволявшие им выживать в чужой социальной среде, определявшие в конечном счете их поведение и отношения с властями. Как в деревне, так и в городе к жизни были вызваны закрепленные в памяти стереотипы поведения как реакция на несправедливые действия властей. Формы поведения могли меняться во времени и пространстве, но суть оставалась одной — «оружие слабых» — воровство, мелкий саботаж, игнорирование спущенных сверху решений, невыполнение их. В то же время сохранялись связи мигрантов и отходников со своей деревенской средой, со своими родственниками. Происходила взаимная подпит-

ка, причем, не исключено, что городская (или в определенном смысле квази-городская, поскольку «переваривание» городом бывших сельских жителей шло долго, а город постоянно принимал очередную порцию мигрантов) подпитка шла интенсивнее.

Все же основное дело для власти было сделано: с проведением коллективизации корни единоличного крестьянского хозяйства были подорваны (правда, в конце 40-х – начале 60-х годов потребовались дополнительные меры для этого). Более того, с одной стороны, официальная пропаганда настраивала на «борьбу с пережитками старого в сознании и поведении людей» (этим «старым» признавались прежде всего «частнособственнические устремления» и приверженность православному веру), с другой – всячески поддерживала и развивала народные фольклорные традиции, ориентировала на связь с демократическими традициями прошлого. Однако парадокс заключался в том, что чем больше и активнее на государственном уровне поддерживались эти традиции, тем активнее уходила сама живая традиция крестьянской обрядности из реальной сельской жизни. Интересно, что этнографические экспедиции 50-х годов в ряд регионов Центральной России продемонстрировали сохранение ситуации, которую в 20-е годы – годы активного функционирования традиционной культуры – характеризовали как «старое в новом и новое в старом». Правда, в 50-е годы все же уже наблюдался значительный перевес элементов новой советской культуры и ситуация скорее могла быть обозначена как «новое в старом и старое в новом». Более того, новое строго говоря уже не было новым, а становилось обычным, обыденным: труд в колхозе, посещение дома культуры и кино взамен привычных посиделок, более позднее включение детей в трудовой процесс семьи. Вместе с тем, шла интеграция традиционной крестьянской экономики (кре-

стьянского двора) в колхозный строй. Постепенно колхоз становился ведущей традицией российского аграрного общества XX в.

* * *

Вновь каждый очередной юбилей Октября становился поводом вспомнить старую жизнь и подытожить, что дала крестьянам революция. Таким образом, воспоминания оказывались ценными не сами по себе, как описания жизни, они оказывались «привязанными» к ведущему событию XX века. Память людей все более политизируется.

Официальная версия дореволюционной и послереволюционной истории крестьянства была выражена известной схемой: тяжелая, полная невзгод и лишений жизнь батрацко-бедняцких слоев в царской России, эксплуатация их помещиками и кулаками-мироедами — борьба крестьянства под руководством партии и в союзе с рабочим классом за власть в годы революции и гражданской войны — восстановление народного хозяйства — коллективизация и раскулачивание — новая счастливая жизнь советского крестьянства в условиях победы колхозного строя¹⁸⁰. Советское крестьянство объявлялось совершенно новым крестьянством, подобно которому еще не знала история человечества¹⁸¹. Ни о какой самоценности прошлого в данном случае не могло быть и речи, оно было нужно лишь постольку, поскольку помогало сравнить «прежде-теперь» в пользу «теперь», но и «прежде» и «теперь» были в значительной степени мифологизированы. Кстати, отсутствие самоценности прошлого в памяти — признак памяти традиционной, а не модернизированной. Это еще раз подтверждает, что новая власть, осуществляя модернизацию общества, опиралась на пласты архаических

представлений, хотя пользовалась атрибутами памяти современной. Прежняя жизнь трактовалась весьма расширительно и в нее включалось дореволюционное прошлое в целом, даже крепостное право, или единоличная жизнь в целом, но упор все же делался на дореволюционном времени. Власть удачно использовала сохранявшиеся в культурной практике народа представления о крепостном праве¹⁸². Память становится маркером традиционной оппозиции «добро/зло».

В соответствии с предложенной схемой строились и воспоминания крестьян-колхозников, как индивидуальные, так и коллективные. Все это тиражировалось и распространялось в массы. В многочисленных публикациях того времени олхозники описывали свою жизнь «прежде и теперь» по всем законам советского исторического жанра. И хотя в этих воспоминаниях была правда, описание приобретало характер «октябрьской сказки».

«Самые лучшие земли были у кулаков. Было два «хозяйина» — драли по семи шкур. Горбатилась у кулаков почти вся деревня за сущие гроши. Детишки не выживали. Что ни случись — мужик виноват, таков был волчий закон до советской власти. В вечном батрачестве, нужде и голоде, страхе за существование, за завтрашний день, с одной мечтой — мечтой отцов, дедов и прадедов — о земле, о свободном труде — жили мы в этой самой глухой придавленной гнетом царизма деревушке. И вот пришел октябрь 1917 г. В деревне не сразу поняли, что случилось. Кулаки прятали хлеб». Далее описание по форме становится совершенно фольклорным. Является и герой-спаситель, и враги чинят ему всяческие препятствия, но он выходит победителем. Подробно и обстоятельно описывали колхозники приметы «теперь» — уверенность в завтрашнем дне, выраженное формулой «теперь не нужно думать о завтрашнем дне»; полные закрома хлеба, которого хватит на два года вперед; полновесные трудодни; помощь многодетным семьям и многое другое¹⁸³.

О дореволюционной жизни писали: «Вспоминать о прошлом не хочется», «Я помню свое детство, хотя вспоминать его не хочется»¹⁸⁴. Старики-колхозники с. Вячки Кирсановского района Тамбовской области (шел перечень фамилий) сохранили в памяти рассказы своих отцов о крепостной жизни. Но вывод сделали другой — вспоминать прошлое надо, его следует вспомнить, чтобы оценить настоящее: «Сыновьям и внукам закажем помнить об этом», «Мы говорим молодым — не забывайте нашего тяжелого прошлого»¹⁸⁵.

«Только в памяти старожилков осталось безрадостное прошлое...», — утверждалось в одной брошюре¹⁸⁶. Но все же обосновывалась необходимость помнить прошлое в назидание потомкам¹⁸⁷.

Официальной памяти хотелось, чтобы коллективная крестьянская память несла в себе факты о произволе и жестокости помещиков, семейные истории о рекрутчине, о земельном голоде¹⁸⁸.

Надо сказать, что немалую долю в конструирование новой памяти внесли народные сказители, которых любовно пестовала советская власть. Об одной из сказительниц было сказано, что своими произведениями она творит легенду о революции¹⁸⁹. Сказители действительно ярко и образно выражали ценности новой жизни, но в автобиографиях — сходных во многом по стилю и форме с автобиографиями селькоров — сквозь революционное мифотворчество проступала реальная крестьянская жизнь во всех ее противоречиях. Сельская общность, крестьянское хозяйств и его заботы, еда, сравнения «сытно-голодно» — все это сохранялось в памяти¹⁹⁰.

Память о недавнем прошлом, в частности, коллективизации, строительстве колхозов — это память о прожитой жизни как трудовом подвиге во имя нового общества. Таковы индивидуальные воспоминания-истории жизни руководителей лучших хозяйств, передовиков колхозного производства.

Ничуть не умаляя того, что сделано этими и другими людьми, на долю которых выпало жить и создавать советское общество, отметим, что они были искренни и верили в светлое будущее. Центральным пунктом воспоминаний было получение крестьянами земли в результате революции. В дореволюционной жизни — это повторяемые на разные лады мечты типа «нам бы, мужикам, власть получить над землей». Память о практике хозяйствования на маленьком клочке земли. Довольно подробно описывались дореволюционные годы, а 20-е — очень бегло, как будто не оставили в памяти заметного следа. Прежней угнетенной жизни крестьян противопоставлялась жизнь в условиях колхозного строя — счастливая и зажиточная; трудности были, но они решительно преодолевались. «Общим местом» поэтому стали сюжеты о заработках крестьян в колхозах в конце 30-х гг: «Молотьба идет полным ходом, а хлеб некуда ссыпать. Хлеб колхозники не берут из колхозной кладовой. Один колхозник говорил — «Куда я его дену? Два ларя у меня заполнены мукой. Сделал загородку в сенях — тоже допона пшеницы насыпал. Что же ты, прикажешь мне теперь двери и окна у горницы досками заколачивать, разбирать потолок и туда пшеницу ссыпать?» Все крестьяне в обновках, думают, куда дальше идти детям учиться.¹⁹¹ Думается, память о довоенной колхозной жизни как жизни счастливой, богатой и сытой была просто необходима людям послевоенной разрушенной и обездоленной деревни. Память по сути призвана была играть роль мобилизующего фактора. Правда, публиковались преимущественно записки о жизни председателей немногих крепких хозяйств из наиболее хлебородных районов или передовиков производства. Зарисовка публициста из жизни ярославской деревни начала 50-х представляла другую картину. О том, что колхозники в эти годы не надеялись на колхозный трудодень, говорилось и в материалах обследования тверской деревни¹⁹².

Общим для памяти крестьян всех поколений является память о собственном крестьянском мире. Здесь, конечно, присутствуют элементы мифологизации. Без этого память ни одного человека, ни малого или большого сообщества существовать не может. Почему подобные мотивы в воспоминаниях стали появляться в 50-70-е годы, и их не было в 30-е? Ответ в общем прост и, наверно, лежит на поверхности. В самом деле, как можно было в 30-е годы пробуждать в народе память о крестьянском ручном труде, труде на котором в те годы по сути ставился крест! Но чем дальше развивалась жизнь, тем очевиднее становилось, что вооруженным техникой колхозникам явно не хватало заботливого крестьянского отношения к земле.

Председатель одного из алтайских колхозов М.Ефремов в книге «Моя жизнь» — во многом метафоричной — вспоминал деда, ростом и обликом вполне соответствующего представлениям о фольклорно-былинном пахаре; патриархальные порядки, царившие в семье. Отношение деда к деньгам преподносилось как дань традиции: «Деньги в доме не задерживались. Дед считал, что «копейка карман трет». Осенью сразу вез урожай на рынок, вырученные деньги шли на уплату налогов. На остаток покупал ситцу и сам раздавал подарки»¹⁹³. Уплатить подати вовремя было важно для крестьянского хозяйства: существовал закон, позволяющий временно отнять землю у того, кто отказывается платить подати, и сдать ее в аренду, погасив этими деньгами задолженность. Обычно эта статья применялась к тем, кто по несколько лет не платил подати, но опасение неуплаты постоянно довлело над крестьянином, поэтому память о податях, налогах, торгах за неуплату очень сильна, а в воспоминаниях сюжеты на эту тему занимают важное место — неважно, относятся ли они к началу, середине или концу XX века¹⁹⁴.

Бедно жили, сразу весь хлеб продавали. Весной хлеб дороже. Речь шла о неприятии «торгашеского», поскольку главная мысль книги »Моя жизнь» заключалась в сохранившихся с детства в памяти словах деда: «Пропитание умей своим трудом добыть. Чужой кусок хлеба в горле застрекает. Крепко стой на своих ногах, не то жизнь сомнет тебя как былинку».

Конечно, и в таких воспоминаниях хватало места для описания «бедной, полной нужды и лишений дореволюционной жизни крестьян, задавленных царской и кулацко-купеческой кабалой». И все же главной мечтой деда, передавшейся потом отцу, было стремление выбиться в крепкие хозяева. Не случайно столь притягательна была любимая сказка отца о «птичке-невеличке»: у крестьянина — вечные недороды, набеги саранчи, но вдруг появляется птичка, которая спасает мужика. Собрал хозяин урожай богатый, на следующий год посадил вдвое больше, вновь хорошо хлеб уродился. Так пошел мужик «в гору», хату новую построил, детей обул-одел». Как-то отец в мечтах заявил — имей, мол мужик силу все поля вспахать и засеять, могли бы досьта державу накормить. И все же память Ефремова рисует образ расчетливого хозяина, для которого осознаваемый долг кормильца страны немислим без желаниа выбиться. Однажды, когда дед с отцом достали хороших семян, они наказали младшим в семье не рассказывать никому об этом — если каждый будет сеять такую пшеницу, цена на хлеб упадет. И когда соседи стали просить деда открыться, где такие семена достают, тот отказался. «И я рос таким же собственником, как дед, отец, соседи, и как они жил интересами своей семьи, своего хозяйства», — констатировал М.Ефремов¹⁹⁵.

Как альтернативу этой жизни рассматривал Ефремов свое политическое просвещение — беседы с местным учителем, фронт первой мировой, революцию. Прошлая крестьянская жизнь рисовалась ему теперь в

образе путника, который идет в кромешной ночной тьме, с непомерно тяжелой ношей на плечах, по бездорожью. Путник устал, одежда изорвана, босые ноги кровоточат, а нужда подгоняет — иди. Октябрь дал крестьянину свет. Однако агрономические эксперименты автора на своих полосках не приносили желаемого результата. И все же когда подошла коллективизация, Ефремов-середняк колебался, хотя был не против коллектива. Жена настаивала — «наши деды-прадеды жили единолично». В записках описаны его сомнения: «жена плакала, я долго бродил по двору... Когда мне пришлось вести лошадей и коров на общественный двор — что-то шевельнулось». Доярки на колхозной ферме своим бывшим коровам побольше корма давали, и Ефремов сам так делал¹⁹⁶. Подобные моменты оставались в памяти многих, что зафиксировано в историко-этнографических обследованиях: тверская колхозница плакала, когда сдавала в колхоз лошадь — жаль было, и боялась, что кормить будут худо. Мужчины долго ходили на колхозную конюшню, подкармливали «своих» лошадей. В ряде мест в первый год в колхозе каждый старался работать на «своей» лошади. В тамбовских деревнях колхозники неохотно ухаживали за «чужими» лошадьми. В одном колхозе в первые годы его существования ездовыми назначались к лошадям бывшие их владельцы¹⁹⁷.

Подробно описал Ефремов процесс «переделки психологии крестьянина-единоличника», обретение новой системы ценностей: «Отец видел счастье в личном обогащении, я — в другом: подняться всей стране»¹⁹⁸.

«Живой историей» становились и воспоминания «обычных» советских людей. С середины 50-х годов были возобновлены весьма распространенные некогда историко-этнографические описания отдельных сел и деревень. Правда, рубежи памяти для них задавались обычной схемой периодизации истории деревни в XX веке: до революции — революция — коллективизация — кол-

хозная деревня. Действительно, эти события, оказав значительное влияние на жизнь крестьянского общества, оказали влияние и на его память. Только схема эта предполагала движение крестьянства и его памяти по нисходящей, полное изменение образа жизни, которое трактовалось как «преодоление пережитков в сознании и поведении людей». И хотя субъективный фактор в лице власти сыграл на протяжении нашей советской истории довольно значительную роль в этих изменениях, разные составляющие памяти — в частности, собственно ретроспективный, исторический компонент памяти и поведенческий компонент — продемонстрировали разную степень сохранения и затухания. В определенной мере это чувствовали и демонстрировали сами исследователи.

Вместе с тем, внешняя цензура памяти, особенно характерная для того времени, превращалась в самоцензуру. Хотя внутренняя цензура существует всегда. Одно дело то, что человек помнит, другое — то, чем намерен или согласен поделиться с теми, кого интересуется его память. Трудно сказать о связи внешнего давления с силой самой памяти. Вероятно, в одних случаях многие события запоминались крепче, именно в силу того, что о них «нельзя» было помнить, могло быть и наоборот. В те годы, старшие, например, многое просто не рассказывали детям.

Рефреном подобных документов звучало «Все меньше остается в Кораблине людей, помнящих дореволюционное время. Не очень охотно рассказывают о нем старожилы. Что вспоминать? Нужду, бесправие, покосившиеся избушки... Начнешь толковать с престарелым колхозником о прошлом, а собеседник сводит разговор к артельным делам или международным событиям. Но старое еще не забыто. Оно живет в памяти»; «Пожилые колхозники уже с трудом могли представить цельную картину тверской деревни даже перед самой Октябрьской революцией»; «В настоящее время крестьяне ост-

ро ощущают ту грань, которая отделяет их от прошлого. Пожилые любят вспоминать это время, чтобы ярче подчеркнуть, свидетелями каких огромных преобразований довелось им быть... До сих пор помнят и с болью в сердце рассказывают об условиях жизни в прошлом сельские старожилы»¹⁹⁹. Исследователи настойчиво искали признаки устоявшегося нового образа жизни и приметы изживания старого.

И все же память крестьян, живших в деревне в 40-60-е годы, представлялась отнюдь неоднозначным явлением, правда, в одних случаях изображалась более поверхностно, в других — углубленно. Самое главное — в эти годы память пытается устоять и на уровне ритуала, и на уровне конструирования прошлого.

Здесь возникает одна, очень важная проблема. Историко-этнографические исследования преимущественно имеют дело с людьми старшего поколения — ведь именно они, обладая большим жизненным опытом, хранят в своей памяти (правда, в разной степени) события далекой истории. Память людей помоложе имеет в данном случае второстепенное значение, хотя они тоже опрашиваются. Социологические исследования тех лет тоже не ставили своей целью специально выявить специфику памяти разных поколений, хотя речь о сохранности тех или иных традиций, обрядов, сторон крестьянского уклада у представителей разных поколений деревенских жителей велась. Будет ли востребовано младшим поколением то, что сохранилось в памяти старших как представления о прошлом и модели поведения? Это самый большой вопрос, который требует выяснения. Что касается 20-х годов, то мы по доступным нам документам обнаружили, что была представлена память разных поколений крестьян, причем как раз было больше людей молодого и среднего поколения. Старшее поколение в чем-то оставалось в тени, и о его памяти можно говорить опосредованно. Тогда, в

40-60-е годы поколения уже стали как бы меняться местами, хотя еще держалось равновесие. Если в 20-е годы более половины населения деревни составляла молодежь, то в последующие десятилетия ситуация менялась в другую сторону. Получалось, что более молодые поколения уже не помнили и не знали этого прошлого и не нуждались в этом.

Как правило, материалы историко-этнографических и социологических исследований давали более подробную картину жизни деревни. Естественно у подобных исследований и у воспоминаний были разные задачи, хотя одинаковые цели. Опубликованные воспоминания носили публицистический характер, в то время как исследования — научный, в пределах, допустимых в те годы для исторической науки. Тем не менее и сами исследования отличались по степени полноты охвата и описания того, что им удалось зафиксировать с помощью воспоминаний жителей деревни.

Крестьяне Центральной России помнили многое, что касалось отношений с помещиками, особенно конфликты, возникавшие по поводу различных сервитутов²⁰⁰. Яркое подтверждение тому, что конфликты памяти наиболее остры в тех обществах, в которые наиболее глубоко внедрены «памяти о конфликтах»²⁰¹. И в конце 50-х годов помнили популярную некогда песню «Отпустили крестьян на свободу, а землю не дали народу»²⁰². Не случайно так ярка и память о начале аграрной революции в России. В памяти очевидцев сохранилось нечто общее, что выходит за рамки индивидуальной памяти и что вполне соотносится с воспоминаниями 20-х гг. Помнился сам процесс грабежа экономий, расправы с крестьянами²⁰³. Память тела вращалась в сознание и в душу.

Важнейшая составляющая воспоминаний — память о земельно-хозяйственных распорядках дореволюционной деревни, общинных традициях и также о социальных конфликтах внутри общества, разрушении пат-

риархальной атмосферы деревни ²⁰⁴. Вновь можно отметить, как цепка память на цены, на все, что касалось функционирования крестьянского хозяйства на рынке. Спустя 50 лет люди помнили цены на лошадей ²⁰⁵. Сошлемся и на другие источники, фиксировавшие это ²⁰⁶. Крестьянин Воронежской области Ф.С.Маркин в 1952 г. осмелился сравнить «как раньше жили крестьяне и как сейчас». Он отмечал: «Рядовой честный колхозник не скоро придет на уровень средняго колхозника Оценка между средняком последнее время индивидуального хозяйства то есть 1913 г. и колхозниками нашего колхоза 1952 г. что можно ценить так что культурно бытовое положение для колхозников много раз лучше то есть на 75 % В отношении экономики то еще колхозное хозяйство ниже бывшего средняка» ²⁰⁷.

Так получалось, что в течение по крайней мере двух десятилетий, с момента проведения коллективизации, послереволюционная история, особенно история деревни в годы гражданской войны, нэпа, не находила, казалось, отзвука в памяти. Об этом времени вспоминали мельком, мимоходом. Обследование с. Молдино (1964-1966 гг.), удачно совпавшее с непродолжительным периодом прорывов в исторической науке, позволяло, хотя еще достаточно робко, приоткрыть некоторые тайники памяти.

А помнили крестьяне то, что вспоминалось в 20-е годы их отцам и дедам, участникам аграрной революции: многие из нуждающихся в земле крестьян боялись действовать смело — «не пришлось бы отвечать потом, когда барин вернется»; «все боялись против барина идти»; «когда советская власть стала отбирать помещичье добро, крестьяне стали заступаться за барина, так как крепкие крестьяне страшили остальных его возвращением». Помнили крестьяне реквизиционные отряды, выступления против них, дезертирство из Красной Армии. Совершенно противоположные мнения о жизни деревни в годы гражданской войны. «Голодали», — говорили одни. «Обходились своим

хлебом и картошкой, сдавали еще и городу хлеб». «За 40 пудов дом продали и не голодали», — утверждали третьи. «Часть собранного хлеба оставалась в самой деревне, и если кому не хватало хлеба, выдавали по 15 фунтов в месяц на едока», — заявлял заведующий приемным пунктом реквизированного хлеба. Нелегким делом было ежегодное определение среднего показателя урожая в волости — от него зависела норма продразверстки. В материалах обследования отмечалось: «И сейчас еще у некоторых вспыхивает обида — «урожай определяли неверно: выбирали хорошее хозяйство»²⁰⁸. Двадцатые годы сохранились в памяти молдинцев 60-х годов как преимущественно время нужды, тяжелой жизни в единоличном хозяйстве. Единицы сохранили в памяти приметы «хорошей жизни».

Специфика «Молдино» заключалась в том, что здесь с самого начала Советской власти существовали две коммуны, одна из которых распалась в 20-е годы, но вновь возродилась в годы коллективизации. В 60-е годы в Молдино еще работали многие из тех, кто начинал свою коллективную жизнь в коммунах. В памяти сохранились и те первые шаги, которые делали люди в этом новом для них деле; и нелюбимые оценки коммунаров («в коммуну собирались люди, не умеющие хозяйствовать»); и примеры того, как сталкивались внутри коммуны уравнительная и собственническая психология; и конфликты коммун с сельским обществом ²⁰⁹.

В памяти бывшего коммунара П.Цветкова сохранилась его женитьба на дочери церковного казначея. Правда, он женился еще до вступления в коммуну, во второй половине 20-х годов. Отец его будущей жены был против их брака и заявил: «Зарублю тебя, если пойдешь за комсомола!» Расписались в сельсовете они тайно (жена его взяла дома лишь одеяло да подушку и убежала). На другой день новоиспеченный муж пошел к отцу невесты, то поставил водку на стол и заговорил: «А все-таки ты вор!», «Почему я вор?» «А вот дочь у

меня украл». «Как же я украл, когда она сама за меня пошла, а вот ты вор, ты дрова в лесу рубишь, а лес государственный». Тесть смирился и отдал все вещи дочери. Тогда парень стал требовать приданого — и корову, и овцу. Пошли с тестем в хлев. «Какую овцу брать?» — «Ни которую не бери!» — Цветков сам выбрал овцу и снес ее себе в сани. Тесть молчал. «Ну, теперь корову, что ли, выводить?» — А у тестя было три коровы. Тесть стал упрашивать: «Оставь пока, осенью возьмешь». На том и порешили ²¹⁰. Ну чем не репетиция реквизиции! Возможно, отец невесты, помня реквизиции гражданской войны, поступил мудро, сохраняя хотя бы таким образом свое хозяйство.

Но так же, как и коллективные хозяйства в других местах, молдинцы столкнулись с проблемами обобществления скота. Так, в одной деревне скот до выгона на пастбище содержался каждым домохозяином. Использование скота происходило по указанию распорядителя работ. Сильны были стремления работать «на своей лошадке», «своим инвентарем». Для преодоления подобных настроений практиковался перевод рабочего скота из одного отделения в другое²¹¹.

Мы не располагаем в настоящее время всеми материалами обследования с. Молдино. Трудно сказать, что вспоминали колхозники о своей колхозной жизни в 30-е годы. Сведения об этом скупы. Ссылки в опубликованном труде по итогам молдинской экспедиции даются только на протоколы колхоза, а не на воспоминания колхозников. Вторая половина 30-х, как явствует из описания, была очень тяжелой для хозяйства в связи с переходом с устава коммуны на устав артели: имущество сначала было разделено на паи, потом вновь объединялось. По сути крестьянам пришлось пережить вторую коллективизацию. К сожалению, и вся последующая колхозная жизнь была представлена только на основе протоколов и годовых отчетов колхозов, кол-

хозяйная повседневность — неформальные отношения внутри сельской общности — оказалась недоступной постороннему взгляду. Крестьяне молчали, крестьянская память замкнулась в свою скорлупу.

Исключение составили годы Великой Отечественной войны, рисующие жизнь людей и положение хозяйств прифронтовой зоны (мужчины вспоминали фронт, боевые действия). Память женщин о войне — это память о слишком будничном — о постоянной нехватке еды, об изматывающем труде в колхозе и в личном хозяйстве. То, что официально было названо «трудовым подвигом советского крестьянства в годы Великой Отечественной войны». Старожилы рассказывали, что пришлось поесть за войну хлеба «с пужинкой» (мякина из-под клевера), с картофелем и другими примесями. В войну пекли блины из травы, ливерные «папушки» сушили, мололи и делали тесто. Мололи кости — заправляли ими супы». Донашивали старую одежду, иногда обменивали у городских. Жгли лучину. На себе обрабатывали землю своей усадьбы: «Соберемся, семь женщин, привяжемся к колу, а к нему плуг... сходимся артельно по своей подворине, по очереди каждой и сажаем»²¹². В 60-е годы в СССР на экраны кинотеатров вышел художественный фильм «Бабье царство», ставший событием кинематографического мемората о советской деревне.

Что касается колхозного периода в жизни крестьянства, то он по большей части был представлен в памяти скупо, если речь не шла об этнографическом материале. Жизнь ровесницы века Е.К.Трыханкиной из Кораблино — «светлый путь» от сироты, подростком вынужденной зарабатывать на торфоразработках, батрачить у помещика до — звеньевой колхоза, кавалера ордена Трудового Красного Знамени. «Самые лучшие мои думы и воспоминания — о колхозе», — признавалась она. Однако, сохранив в памяти «трудовые будни»

раннеколхозной поры, она невольно приоткрыла то, о чем официально было говорить не принято — об элементах принуждения и постепенном изменении отношения к труду в колхозе: «Надо сказать, работали мы тогда много больше, чем теперь. Чуть свет вставали, до завтрака в колхозном огороде, потом в поле. Ночью как-то довязывали пшеницу»²¹³. А ведь *Матренин двор* находился совсем неподалеку... Старая доярка из тверской деревни объясняла «Все катком да броском шло в доме, ни попариться, ни пообедать всей семьей. А все оттого, что о коровах болела. Ферма наша была передовая, и не хотелось отстать от других. А условия были трудные: воду на себе таскали, силос из ямы на веревочке ведрами поднимали. Все это требовало много времени и сил — вот и бежали из дома на ферму»²¹⁴. Колхоз действительно разрушал сложившиеся традиции крестьянского рабочего дня, отдыха, трапезы. Вполне утилитарный подход колхозной повседневности к традициям прозвучал в рассказе одного из колхозников Калининской области: «Летние праздники теперь к общеколхозным приурочены. Рождество раньше не праздновали, был Никола Зимний, но еще бывает некогда, поэтому перешли на Рождество»²¹⁵. Правда, в старое время в центрально-промышленных губерниях с высоким уровнем отходничества традиция собираться всей семьей за столом нарушалась, и об этом в материалах экспедиций упоминалось. В тверских деревнях не всегда царил тот неукоснительный порядок (в размещении людей за столом, в очередности зачерпывания из общей миски, в выполнении таких обязанностей, как разрезание хлеба, мяса), который составлял одну из неукоснительных черт семейного быта крестьян южнорусских губерний²¹⁶. И все же система организации труда в колхозе отрывала человека от домашнего хозяйства²¹⁷.

Общинные принципы работы очень умело использовались и в колхозной практике. А. Орлов, в 30-е годы председатель одного из тверских колхозов писал, что во время сева «приходилось уговаривать бригады не оставаться в поле до ночи. Каждая желала уйти последней. Ни одна не хотела раньше других окончить дневную работу. Правлению пришлось вынести постановление: всем по сигналу одновременно кончать и ехать по домам. Когда давали такой сигнал уже совсем в потемках, бригадники ворчали — «чего рано гоните»²¹⁸.

Ничуть не умаляя трудовых заслуг старшего поколения, отметим, что в памяти других старших поколений, живущих тридцатью годами позже тех, раннеколхозная жизнь описывалась уже более приземленно, жестче, без пафоса²¹⁹.

О том, что память о прошлом не укладывалась в схему, говорят материалы обследований деревни. Правда, в некоторых случаях авторы обобщающих работ по итогам этих обследований комментировали имеющиеся в их распоряжении воспоминания в определенном духе: «Еще и теперь встречаются люди, склонные приукрасить старый семейный уклад. Будто бы семья была крепкой, в ней царили мир и спокойствие, дети отличались послушанием, молодежь была целомудренной. На самом деле картина была иной. Все лучшие чувства были скованы законом, мирским и божьим. Социалистический строй изменил уклад крестьянской семьи, раскрепостил женщину»²²⁰. Не будем упрекать их, многое в их словах верно, а многое нет, потому что и прежнее время, и современность рассматривались по принципу «или-или».

Сохранявшиеся в памяти черты старого деревенского быта рисовались по-разному. В одних случаях — общими штрихами, крупными мазками. Старожил рязанского Кораблино вспоминал свое детство: «Избы, крытые соломой. «Красный угол» с иконами. Отец умер

рано, оставив матери кучу малолетних детей. Старшие подрастали и женились, но не делились: не было средств на постройку нового жилья. Перед революцией в избе жило 22 человека, прямо как пчелы в улье. Надела земли не хватало. Были у нас лошадь да корова. Рабочих рук много, а собственный хлеб ели только до Рождества. Братья работали на стороне, но пользы мало. Все равно приходилось занимать хлеб «до новинок» у кулака. А тот долго куражится, а потом молвит: «Ладно, дам хлеба. Но за это будете косить несколько деньков» . Помню, перед самой войной 1914 г. только трое в селе имели галоши. Ребятишки с первых теплых дней и до заморозков бегали босиком». Ему вторил другой: «Как вспоминаю о той бедности, какая была в нашей семье прежде, жуть берет. Ни тебе поесть, ни тебе одеться. В лохмотьях ходили. А кулаки меня и за человека не считали, гнали от ворот, как собаку. Чего нашей семье теперь не хватает? Едим вволю: и мясо, и молоко, и сахар. Одежда и обувь тоже всякая есть, Хватает деньги и на то, чтобы справить праздники»²²¹ «Жили в невежестве, бедноте, от одних тараканов было некуда деться»²²² .

В других случаях старый деревенский быт — как это показали материалы историко-бытовых экспедиций Государственного исторического музея (ГИМ), историко-этнографических экспедиций Института этнологии и антропологии (тогда — Института этнографии) РАН, также материалы изучения села «Молдино», проводившегося Калининским педагогическим институтом — сохранился в памяти во многих деталях и подробностях. Вопросы о характере деревенской застройки, обстановке избы, одежде и питании, праздниках и обрядах касались привычного уклада жизни, не были политизированы, вторгались в самую глубину памяти. Именно эта сторона жизни была меньше подвержена изменению, но в разных аспектах — по-своему. Так,

отмечалось, что в тверской деревне в составе кушаний, в способе приготовления и потребления еды встречалось довольно много своеобразия, идущего от прошлого.

Важно, что эти обследования все же зафиксировали существование неоднозначных мнений, взглядов, суждений. И главное — они показали глубину крестьянской памяти — по крайней мере на уровне более ста лет (к слову, память современных стариков чуть менее глубока). Видимо, более-менее подробно крестьянская память (вероятно, не только крестьянская) способна охватить именно такой период, в пределах трех-четырёх поколений, поскольку чаще три поколения (и в лучшем случае — три) общаются тесно между собой. В с. Вирятино Тамбовской области этнографическая экспедиция отмечала существование родословных некоторых, главным образом, зажиточных семей. Существовала среди стариков и память об общем корне происхождения многих семей села.

Так, тамбовские крестьяне помнили: сходы, особенно когда дела решались «горлом»; неурожаи 1891-1892 гг.; быт отходников на заработки в шахты; размеры семей накануне отмены крепостного права; патриархальный уклад семей («дед, глава семьи, держал в руках хворостину и ударял каждого провинившегося за общей трапезой; характер питания различных слоев крестьянства; порядок разделов дворов; семейно-брачные (включая сведения об обрядах до 1861 г. и описание свадеб 1888, 1904 и 1911 годов) и похоронные обряды. Рассказывая о прошлой жизни села, крестьяне постоянно связывали ее с аграрными календарными датами. Деревня помнила и пела старинные лирические, рекрутские песни, частушки; кулачные бои, которые проводились до 1936 г.; обильные выпивки ²²³. Тверские крестьяне помнили не меньше, в чем мы уже успели неоднократно убедиться.

По разному можно, например, отнестись к тому, что долгое время крестьянские семьи носили домотканую одежду. В документах 20-х годов это считалось

признаком бедности, покупную одежду могли позволить себе единицы, остальные довольствовались сшитыми на праздник нарядами из ситца. Однако значительно позже, в памяти старшего поколения деревни, живущего на рубеже 80-90-х годов, домотканая одежда тоже фигурировала как элемент крестьянского быта, но в этом было уже проявление ностальгии. Дело в том, что дольше всех домотканую одежду сохраняли средние хозяйства, так как дольше были связаны с натуральным хозяйством. Поэтому память о домотканой одежде — это и память о хозяйственном положении крестьянского двора. Средний уровень — это крестьянская гордость, это тот уровень, к которому тянулась основная масса крестьян, тот уровень, который крестьянство стремилось отстоять.

Представления, существовавшие в 50-60-е годы в отношении «раньше», когда дети «щеголяли» в домотканых длинных рубахах, в лаптях, к которым были привязаны «коты», деревянные чурки с отверстиями для веревок, имели ярко выраженный негативный оттенок. То, что «о злополучных «котах» ребятишки совсем не слыхали, даже лаптей не видели» — преподносилось исключительно как одно из завоеваний социализма ²²⁴. Нас же интересует ремарка «ребятишки совсем не слыхали, даже лаптей не видели». Вероятно, ее не стоит понимать буквально, иначе ее можно было бы представить как свидетельство разрывов памяти. Вряд ли в семьях об этом не рассказывали. Уж что касается одежды и обуви, крестьянам всегда было свойственно бережливое отношение к ним, и старшее поколение в назидание младшему уж обязательно должно было вспомнить, что носило само, дабы внушить бережливость. Как показали, например, материалы экспедиции в с.Вирятино Тамбовской области, память фиксировала такие факты: «Когда дед в 1860 г. женился, в селе было три пары кожаных сапог»; «валенки хоть и были, да их в «обед-

не» берегли»; «валенки и башмаки у старших — лишь на люди надеть, а то и в лаптях пойдут»; в семьях кулаков «лаптей даже плести не умели»; «дома женщины носили все домотканое, а что с шахт мужчины привезут, держали в сундуке лет по двадцать»²²⁵. В тверском Молдино помнили, что «покосные рубахи были красивы, украшались вышивкой и кружевами». Летом носили лапти, зимой — чуни с носками. Валенки — в праздники, в них даже венчались. В 90-е годы XIX в. появились полусапожки на пуговках. Они обычно справлялись невестам, которые носили их по 20-25 лет.: «шли босиком, чтобы не снашивать обувь, а за плечами бабы на палочке несли полусапожки. Лишь подходя к селу обувались»²²⁶.

Вместе с тем, повсеместно, как показали материалы экспедиций ГИМ и ИАЭ РАН, крестьяне помнили столетней давности цены на товары, размеры оплаты труда, размеры крестьянских земельных наделов, количество скота в хозяйстве, время приобретения различных сельскохозяйственных орудий²²⁷. В этих воспоминаниях крестьянин представлял ориентированным на рынок, на развитие собственного трудового хозяйства.

Прочность памяти крестьянского сообщества — в сохранности обрядов и обычаев. В 50-е годы наряду с памятью о стойкости в пореволюционной деревне народных традиций и праздников наблюдалось оживление многих традиций и обрядов, прежде всего религиозных²²⁸.

Для 30-х годов был характерен массовый, нередко вынужденный отход населения от религиозно-обрядовой жизни. «С колхозами вроде некогда стало думать о боге, о молитве и постах: день работаешь, вечером по хозяйству хлопчешь, а там смотришь — кино хорошее привезли или собрание назначили — *надо идти*. (подч. нами — И.К.) Перед сном лишь вспомнишь, что не помолилась сегодня. Ну, думаешь, уж завтра помолюсь, так и откладываешь» — вспоминала тверская колхозни-

ца в конце 50-х ²²⁹. Подобное признание автору этих строк приходилось слышать в 1996 г. от 82-летней вологодской крестьянки: «Сидишь-прядешь — не молитвы читаешь, а частушки поешь. Не знаю я молитвы, а к церкви ходили, чтобы парня увидеть (это о самом конце 20-х годов — И.К.). В 1935 г. церковь закрыли. У меня старший был крещен, а другие — нет. Некогда потом было сыновей крестить. Встанешь в 4 утра и бежишь косить до захода. Вообще бабушки по домам крестили, но я не крестила. По праздникам ходили в церковь в Тотьму». Из тех, что частушек, что она помнила, сохранились в памяти невеселые ²³⁰:

«Раньше пела-запевала за товарочку свою,
А теперя что случилось — за себя не запою».

«Раньше пела-запевала, запевать хотелось,
А теперича куда мое веселье делось».

«Все колхозы, все колхозы, все колхозные дела,
Все колхозные работники не стоят ни ...»

Когда во время Великой Отечественной войны население писало ходатайства об открытии церквей, ведущим мотивом необходимости их открытия была апелляция к традиции, исторической памяти, духовной связи с предками. Так, в одном из ходатайств читаем: «Истари Дымковский приход был отделен сельской общиной... имел свое собственное кладбище, где похоронены их отцы, деды, прадеды, а с закрытием церкви население всего этого лишено» ²³¹.

В послевоенный период и в 50-60-е годы, как зафиксировали материалы обследований, многие традиции и обряды оживились. В изучаемых деревнях в том или ином виде сохранялись религиозные праздники. Большая часть народа отмечала и советские, и религиозные праздники. Религиозные традиции и обряды не осуждались общественным мнением. На вопрос, «что не нравится из обычаев села», колхозники отвечали — пьянство, хулиганство, несправедливость, склоки, ссоры, сплетни ²³².

При этом, объясняя причины своей веры в Бога люди, в частности, женщины 30–40 лет, отдавали дань традиции — «так говорят старики!»; «мы верим потому, что верили наши отцы и деды»; «нас вере обучали наши предки... Они верили в бога, мололись, и им хуже от этого не было»; «предки не глупее нас, нам не годится отступать от их заветов»²³³.

Наиболее стойко сохранялись традиции похоронного обряда. Выполнение его ревностно поддерживалось людьми старшего возраста. Помин и память — слова однокоренные. Ожилились и старые свадебные традиции, особенно в 50-е годы (выросло новое поколение). В Тверской области повсеместно возрождался забытый за годы Отечественной войны обычай устраивать в дни советских праздников общественное угощение по бригадам «в складчину», которое практиковалось в 30-е годы²³⁴.

Историко-этнографические материалы показывали — деревня жила, подпитываясь памятью о прошлом.

Имеются свидетельства, что в годы войны мечта о своей земле жила. Старые фронтовики вспоминали, как солдаты в окопах говорили о затаенном (время нового «слушного часа»): после войны колхозы распустят, а землю поделят²³⁵. Еще во время войны, примерно с 1943 г. информационные сводки ЦК ВКП(б) начинают фиксировать как массовое явление рост настроений в пользу роспуска колхозов²³⁶.

Чтобы окончательно пресечь у людей надежду на возвращение к прошлому — к получению земли, к созданию своего индивидуального хозяйства — пошла на укрупнение колхозов, затем — реорганизацию их в совхозы, ликвидацию неперспективных деревень и сселение людей, затопление оставленных изб и сельских кладбищ водами новых водохранилищ. На центральных усадьбах хозяйств появились многоквартирные дома как символ сближения городского и сельского образа жизни.

И все это — на фоне весьма слабого развития сельской инфраструктуры и реальной технико-технологической оснащённости деревни, особенно ее Европейского Центра. Все сильнее было стремление людей вырваться из деревни, избавиться от своего крестьянского прошлого. Но в душе многих жила боль, страдала совесть. Покаянный гимн уходящей деревни исполнили писатели-деревенщики, взявшие на себя участь хранителей социальной памяти крестьянства, оставшегося в деревне, и крестьянина, ставшего горожанином. В некотором смысле через «деревенскую прозу» крестьянство попытались сделать «местом памяти» в обществе.

И все же. Появившиеся в последние годы публикации лишний раз подтверждают, что разрывы памяти пытались соединить и сами крестьяне. Те, кто несмотря ни на что на протяжении всей своей жизни вел дневник. В своем дневнике, который Д.Жунтова-Черняева вела с 1907 г. (когда ей было 14 лет) вплоть до своей смерти в 1983 г., она продемонстрировала способности индивидуальной памяти вбирать в себя коллективную ²³⁷.

Идет повествование о нелегкой, полной трагических событий жизни (в опубликованном материале нашли отражение годы стольпинской реформы и гражданская война), но за этой событийной стороной вставало, выростало крестьянское: стремление к своей вольной земле, работа до пота. В воспоминаниях — свое понимание чести и достоинства, правды; свой крестьянский календарь событий. Жертвенностью, осознанием чувства долга, потребностью выразить себя были полны страницы рукописи. Для Домны Жунтовой память — внутренний ресурс, дающий силы жить.

Вели на протяжении 70-80-х годов записи своих бесед с деревенскими жителями отечественные исследователи ²³⁸. Писали сами крестьяне письма в центральные и местные газеты ²³⁹. Они надеялись, что их услышат.

III. «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ» – ПАМЯТЬ ТРАДИЦИОННАЯ И СОВРЕМЕННАЯ

1. Крестьянское. Крестьянское?

У каждого поколения своя история XX века. Вместе с тем, судьба поколений крестьян, родившихся в первые десятилетия нынешнего века, поистине уникальна. Именно они стали свидетелями, участниками и жертвами модернизационных сдвигов. Практически в их жизни отразился весь век. Это были поколения, формировавшиеся в старой дореволюционной России. Их ровесники, знакомые или родные, возможно, писали письма в «Крестьянскую газету». Но именно эти поколения строили общество, ставшее советским. Слились они с ним или внутренне отвергали? Что из того, что они ценили, было принято последующими поколениями, а что отторгнуто? Их собственные свидетельства лучше всего способны ответить на эти вопросы.

Понять это нам позволяют восемь крестьянских историй, наиболее полных и интересных, записанных в числе других в начале 1990-х годов²⁴⁰. Каждая из них по сути вместила в себя целый век, а все вместе – крестьянский мир России. Каждая история записана в одной из исторически сложившихся частей страны – Русском Севере, Нечерноземье, Черноземье, Поволжье, Степном Юге, Сибири, Западе России. При публикации воспоминаний подлинные имена авторов мемуаров и назва-

ния их родных сел были заменены на вымышленные. Восемь историй, рассказанных тремя мужчинами и пятью женщинами, повествуют о том, что пережито, выстраивают собственные критерии значимости тех или иных событий. К моменту записи крестьянских воспоминаний самой старшей из крестьян было 90 лет, самому младшему — 70. За их плечами — опыт жизни в досоветской, советской и даже в постсоветской России, хотя некоторых уже нет на этом свете. Как каждая человеческая жизнь, этот опыт уникален и неповторим, и вместе с тем удивительно схож в своих основных проявлениях.

Память постоянно работает на противопоставлении «раньше» и «теперь». При этом само состояние «раньше» может относиться и к совершенно разным историческим временам и противопоставляться понятию «потом», и быть идентичным понятию «прошлое». В первом случае могут быть такие противопоставления — периоды, как «до революции — после революции», «до коллективизации — после коллективизации», «при единичестве — при колхозах», «до войны — после войны», «до укрупнения колхозов — после укрупнения», «до перестройки — теперь». Как отмечал в свое время П.Жане, память — это «попытка» приспособления к тем трудностям, которые преподносит нам время.²⁴¹ В представлении Жане, первоначальное осознание времени ограничено жесткими рамками «начала» и «конца» конкретного действия. И лишь постепенно с появлением «памяти-повествования», осознается временная последовательность событий, происходит дифференцировка отношений «раньше», «позже», затем вычленяется понятие настоящего — «теперь», затем будущего и прошедшего. Тогда память перерастает рамки повествования, принимает логический характер²⁴². Абстрактность понятий «раньше» и «теперь» вполне отвечает «характеру» и «духу» современной памяти. Вместе с тем, эластичность не только самих этих понятий, но и их со-

держания, позволяет говорить о некоторой неумелости и неспособности ориентироваться в пространстве «исторического времени» — определенных дат, расставленных в четкой последовательности. Вместе с тем, существование в пределах крестьянской памяти еще одного временного представления — связанного с конкретными событиями (но не датами) — свидетельство более архаичных представлений о времени.

Когда оппозиция «раньше» — «теперь», возникающая в воспоминаниях крестьян, включает в себя противопоставление прошлого современности, она в значительной степени выражает представления об изменившейся жизни и системе ценностей. В воспоминаниях происходит своего рода замещение содержательной наполненности понятия «раньше».

Это особенно характерно для воспоминаний А.П.Крутова (1922 г.р.) из Вологодской области. Память А.П.Крутова прежде всего вращается вокруг времени единоличества его родителей и последующего вступления в колхоз. Воспоминания рисуют нам образ патриархальной, небольшой северной деревни, где каждый крестьянин вел свое собственное — крепкое, середняцкое — хозяйство. Здесь раз навсегда установленный ритм и строй крестьянского жизненного круговорота, чистота и порядок, строгое следование традициям и образу жизни предков. Каждый занимался своим делом: крестьяне — сеяли зерно, лен, разводили скот, делали масло, творог. Заметна рыночная ориентация хозяйств: многое из произведенного продавали на ярмарках, где в свою очередь приобретали промышленные товары. В деревне развивались все необходимые для крестьян промыслы и подсобные производства. Было развито чувство соседства, устраивались помочи. Всей деревней отмечались праздники, с некоторыми из них были связаны местные предания и обряды. Пища — здоровая, натуральная, всего вдоволь и зимой, и летом. Несмотря на разнообразие продуктов, соблюдалась все посты. По воспоминаниям А.П.Круто-

ва, « у родителей всегда всего было вдоволь: мяса, масла, творогу, хлеба. Нужды и горя не знали». Все это богатство наживалось своими руками, никого не нанимали. И вот этот устоявшийся порядок был нарушен в коллективизацию. Именно коллективизация становится для А.П.Крутова первым серьезным водоразделом крестьянской жизни. Таким образом, «раньше» здесь равнозначно «до коллективизации». В представлении А.П.Крутова, «крестьянин ни от кого и ни от чего не должен зависеть — только от природы и погоды». Коллективизация сделала его зависимым от властей, которые совершенно не смыслили в крестьянском деле. А затем пошли один за другим удары по крестьянскому хозяйству: укрупнение колхозов, кукурузная эпоха, сселение неперспективных деревень ²⁴³.

Дедовский порядок сохранился и в памяти С.Л.Грачева (1916 г.р.) из Тверской области. Этот порядок касался и способов ведения самого хозяйства, и некоторых обрядов, самый памятный (и полнее сохранившийся в 20-е гг.) — свадебный. Сохранилось ощущение сытой жизни в 20-е годы — особенно по сравнению с голодным временем революции и гражданской войны, хотя она не была обильна и разнообразна как в северной деревне. Здесь также в 20-е гг. происходил хозяйственный подъем, была развита вся рыночная инфраструктура. Но деревня Центрального Нечерноземья в целом была беднее северной, остро чувствовалось аграрное перенаселение, заметнее была социальная дифференциация, теснее связь с промышленными центрами. Поэтому и возможности хозяйств — иные. Богатыми считались труженики, которые «работали, работали не покладая рук». И для С.Л.Грачева коллективизация — заметный рубеж, после нее все «полетело вверх тормашками»: люди стали уезжать из деревни в город, единоличное хозяйство нарушили, «землю стали обрабатывать как попало, техники не было, только лошадьми, а в колхозе скота не было. 24 дома деревня была, и только шесть коров на скотный двор поставили» ²⁴⁴.

Для А.С.Семеновой, крестьянки нижеволжской деревни (Саратовская область) «раньше» — до коллективизации, когда «все было хорошее». Все пропало, «распорушено», как «кулачить начали». В старое время существовал свой ритм и порядок: дома стояли плотно, а огороды позади домов; посевы меняли через год; все в хозяйстве было свое; в селе были маслобойки, мельницы, плотины, пруды — все для дела; вода в речке — чистая, прозрачная, «камушки плывут, плывут, перекачиваются, песочек шевелится»; в церкви — «обряд больно хороший», много больших икон. В старой жизни было естественным в момент рождения человека думать уже о его смерти, о достойном уходе в мир иной, а потому ребенка скорее крестили: «их, некрещеных-то, не отпевают». Нормативная память отмечала особо уважительное отношение к старым людям — «так сроду у крестьян заведено». У хорошего хозяина и хозяйство хорошее. «Жили, трудились, землю обрабатывали. И на все силы хватало, все успевали». В эту в чем-то идилическую картину прорывались реалии жизни. В памяти всплывают сцены похорон односельчан, а похороны «с выносом» или без него — отзвук имущественной дифференциации. Сама по себе эта дифференциация Антонину Семеновну не смущала, поскольку не вырождалась в социальный антагонизм, который в жизни, на ее взгляд, привносился извне, из города, властью. Философское отношение к жизни — «не нами начато и не нами кончится» — предполагало разные жизненные коллизии, подвижки «вниз» и «вверх», как произошло с ней, когда она, родом из бедной семьи, вошла в семью богатую. Но эти коллизии, в ее представлении, не должны были достигать такого накала, чтобы нарушать гармонию деревенского бытия. Более того, 20-е годы, видимо, и запомнились самой возможностью хорошей жизни. Из последнего десятилетия нынешнего века она заглядывала в его первые десятилетия и была уверена,

что такое старое должно вернуться. В этом ей виделась высшая справедливость. Несправедливостью стала коллективизация. Коллективизация оставила память о столкновении с властями, о полной перевернутости жизни, о голоде 1933 г., о чувстве страха, которое пришлось испытать. Эти годы врезались в память поскольку опрокинутыми оказались многие моральные нормы. Оказалось, что свой человек, кум способен отобрать еду у своего же; что можно убить за кусок хлеба, как убили сестру; что хлеб, несмотря на голод в деревне, был, и начальство не голодало ²⁴⁵.

При чтении крестьянских мемуаров приходит ощущение, что временные границы «раньше» начинают постепенно расширяться: в его орбиту включается и колхозное прошлое, хотя только что вспоминалась коллективизация со всеми ее «перегибами». Такое вполне возможно: двуединство «прошлого-настоящего» в крестьянской культуре предполагает наслаивание старого на новое, при этом старое не вытесняется совсем, а оттесняется новым, уступая ему место и соседствуя с ним²⁴⁶. Принцип неисчерпаемости прошлого, характерный для крестьянской культуры, сохраняется здесь.

Нижняя граница «раньше» становится здесь неопределенной, уходит все дальше в дедовское прошлое, а верхняя — в свое собственное, в 40-60-е годы. Подобное восприятие мы встречаем прежде всего у А.П.Крутова. Конечно, сказывается и то, что на эти годы приходится активный, трудоспособный период жизни А.П.Крутова. Но фактически воспоминания фиксируют стадии раскрестьянивания, определяемые формами и способами модернизации отечественного сельского хозяйства. В понятие «раньше», таким образом, включается то время, когда достаточно четко фиксируется преобладание крестьянства и его образа жизни в обществе. Повлияли ли на эти представления взгляды любимого и уважаемого А.П.Крутовым Василия Белова, его земляка? Естественно, произ-

ведения В.Белова, прежде всего его знаменитый «Лад», «Возродить в крестьянстве крестьянское» родились под впечатлением и в результате многолетних общений со своими земляками. Наверно, в них выражены мысли многих крестьян, мысли, носимые в себе, глубоко запрятанные, потаенные мысли об уходящем мире, иногда выплескивающиеся наружу. Читая беловский «Лад», Александр Петрович Крутов и другие крестьяне, нынешние и бывшие, живущие уже в городе, видят в нем подтверждение своим мыслям. Сказать, что прочитанное совершенно не повлияло на восприятие жизни, наверно, было бы неверным. Да и самому А.П.Крутову свойственно представление об авторитете письменного слова, доверие ему.

«Раньше» становится синонимом хорошей жизни, а хорошая жизнь в свою очередь – синонимом крестьянской жизни со всеми ее атрибутами: прочностью, устойчивостью, порядком, системой иерархии. И самое главное – ежедневным нелегким физическим трудом, трудом прежде всего на себя, а не на соседа или государство. Подобное расширительное толкование «раньше» свойственно не только крестьянству северному, но и крестьянам других районов России. А.П.Крутов здесь не одинок, хотя у него и, пожалуй, у А.С.Семеновой подобное представление выражено наиболее ярко.

Синонимами «раньше» становятся понятия чистота и красота. Практически никто из крестьян не проходит мимо описания родных мест, того, как они выглядели в прошлом. Наиболее часто употребляемые слова – чистота, красота. «Улица в деревне была очень чистая. У дома был колодец, росли у дома черемуха, рябина. Очень все красиво было» (А.П.Крутов). «У нас церковь хорошая была. Николая Угодника. Вокруг – ограда каменная, железная решетка, кованая. В ограде посадки – сирень, вербы. Ох, и красиво было!» (А.С.Семенова). В теперешнем времени от былой чистоты не осталось и следа. Впро-

чем, подобная озабоченность состоянием окружающей среды отражает вполне современное мировосприятие, для патриархального крестьянства естественна слитность с природным миром, о состоянии которого он мало задумывался еще и потому, что мир этот был неизменен.

Все, что исходит от крестьянства, дается в позитивном ключе, от власти – в негативном. «Теперь» сравнивается в том смысле с прежним временем, что «раньше» преобладали крестьянские ценности и нормы. Память стариков «настроена на крестьянскую волну». Они, значительная часть жизни которых, пришлось на советское время, идентифицируют себя только с крестьянским. Несмотря на принятие колхозного «раньше», они не считают себя колхозными. Они живут памятью, но не реальностью в этом мире.

Это позволяет некоторым образом дистанцировать себя и по отношению к тому, что происходит, и по отношению к тому, что было. Много оценочных суждений, поиск доводов «за» и «против» как инвариантов «раньше» и «теперь». Без этого память не предстала бы как воспоминание. Здесь память духа преобладает над памятью тела.

Уже то, что старое время и современность сравниваются по характеру труда, отношению к этому труду, свидетельствует об изменении формы памяти. С одной стороны совершенно очевидно, что техника позволяет облегчить тяжелый сельский труд. Однако техника вносит изменения в отношение людей к труду. Освобождая силы человека, облегчая его труд, она тем самым формирует и облегченное представление о труде. «Раньше весь труд был на себе. А сейчас вот видишь, как живут, – и все нехорошо! Все плохо; Изболтала все-таки жизнь нас, изболтала-избаловала. Вот дали (подч. нами – И.К.) нам хорошую-то жизнь и денег вдоволь» (А.С.Семенова). Даже украсть сейчас не составляет никакого труда, вот все и крадут в таком объеме, что на

себе не донести, нужна машина. Слишком легкий стал труд, слишком все стало легко доставаться, ничего не ценится, а так быть не должно, обязательно наступает возмездие. »А сейчас?! Пошли с той же сумкой в пекарню, а там уже нам напекли. Принесем, съедим. И до коих пор эта легкость будет, — не знаю. Чего еще нового жизнь скажет? Сейчас больно уж легко. А тогда...» — рассуждала на закате советского времени А.С.Семенова²⁴⁷. Наученное горьким опытом своей жизни, старшее поколение доверяет больше своей памяти или памяти и опыту тех, кто жил до них, а потому склонно не обольщаться. «А старики, бывало, говорили, что вот сейчас, может, и хорошо, но жди плохого», — предупреждала в 1993 году автора этих строк, окучивая между тем свою картошку, 84-летняя тамбовская крестьянка. Ища опору в Библии и по-своему трактуя Священное писание, ей вторила А.С.Семенова: «Наступит время, но ненадолго — будет хорошая жизнь. А потом наступит иное время — и опять будет плохо». Хорошая же жизнь неразрывно сливалась в ее понятии со стариной, временем, когда над всем господствовал нелегкий крестьянский труд. Именно в упомянутом выше «дали», в лишении крестьянина права быть самостоятельным хозяином видится основной изъян «*теперь*», современности в широком смысле. Отнюдь не все видят в этом изъян, более молодые деревенские жители склонны и критиковать старших за их обращение к старине. Сокрушались по этому поводу и А.С.Семенова, и О.С.Калинова. Однако прошло совсем немного времени, и молодые, которым «старинка» была не нужна, стали искать свою «старинку», и ею стало не время единоличества их бабушек и дедушек, отцов и матерей, а недавнее советское, «застойное» прошлое 70-х годов.

Самым старшим поколением деревни ценится то, что раньше многое производилось именно собственным трудом, в своем хозяйстве, то есть универсализм крес-

тьянского труда. Рефреном через все воспоминания, особенно воспоминания женщин, проходит мысль о том, что «я все-все умею делать:». А.П.Крутов с гордостью отмечает: «Вот и моя жена, Миропия Александровна, все умеет делать: и прясть, и вязать, и ткать, и готовить — все у нее в руках кипит. *Сколько у нее наткано полотна, полотенца, скатертей, — до сих пор есть, всем пользуемся. И ничего не пришло в негодность, а ведь им лет и счету нет* (опять-таки, «на века», подч. нами — И.К.). Простыни льняные легче и тоньше, чем сейчас в магазинах продают. *Да все белое, как кипень* (подч. нами — И.К.), приятно на него ложиться, вытирать лицо и руки». «Сложных работ в крестьянстве для меня не было. Я ничего не боюсь! И никакой противной работы для меня не бывает. Вот я слепая, а работаю — чулки вяжу. Любая работа была приятная. В этом ведь мы рождены» (А.С.Семенова). «Я все умею делать. И прясть умею, и вышивать... Все на свете умею. И люблю. И на огородах умею, знаю как. И со скотиной тоже управлялась...» (О.С.Калинова)²⁴⁸.

Неодобрение *теперь* вызывает нежелание держать коров на личном подворье (хотя именно *теперь*, то есть в начале 90-х годов, когда записывались крестьянские мемуары, количество коров и других животных увеличилось в личных подсобных хозяйствах жителей деревни в несколько раз). Но это неодобрение имеет два смысла. Воспроизведем вначале логику рассказа. На трудодень, получаемый в колхозе, прожить было невозможно: «... решили держать свою коровушку, так стали облагать налогом... План доведен, его надо выполнять. А косить на корову, в основном, перебивались кто как мог. По кустам, да в лесу, да кто где найдет. Но накашивали. А корова — это все. Без нее и прожить было нельзя. Это сейчас распустились, молодежь. И не хотят в деревне держать коров. Не хотят работать в колхозе, не хотят, потому что все есть в магазине» (С.Л.Грачев). По этой логике, во-первых, у современ-

ных крестьян заметно снизилась ценность труда; во-вторых, у другого поколения крестьян перестал вырабатываться иммунитет самозащиты, по мысли С.Л.Грачева, несомненно должный присутствовать в крестьянине.

Ценится выносливость, физическая сила. В прежние времена, выбирая в невесты девушку, обращали внимание и из какого она «роду-племени» (но и бедную могли взять в жены). Смотрели, и чтобы «поприроднее был человек», включая в «природу» красоту, стать, фигуру, говор. Тогда и потомство будет крепкое, сильное, красивое. Все крестьяне ставят себе и другим в заслугу способность пройти большие расстояния пешком, поднять и донести тяжелый груз. М.И.Шилкина ведрами глину носила. Как образно выразилась А.С.Семенова, «тогда — все на себе. Это сейчас до уборной боятся пешком дойти».

Раньше люди жили экономно, питались рационально, разумно, всегда в меру (не только потому, что чего-то нехватало, сахару например). «Это сейчас избаловались, пьют уже не чай, а сахарный сироп» (С.Г.Грачев). О еде крестьяне говорят много и подробно, не меньше, чем о труде. Наверно, потому что опыт голодов — один из самых значительных, запечатленных в памяти многих поколений отечественных крестьян. Но если для вологжанина А.П.Крутова — символ хорошей жизни разнообразная еда, то для тверчанина С.Г.Грачева — хлеб, тамбовчанки М.И.Шилкиной, волгара Д.А.Толмачева хорошая жизнь — это сытая жизнь, вволю мяса. Сыто живут большие начальники и их жены, особенно в городах, оттого они толстые, правда, и болеют чаще, сердце не выдерживает. Символ сытой деревенской жизни не только хлеб, но и мясо, чуть позже — котлета, как потом — для другого поколения, уже в 70-80-е годы, да и вплоть до последнего времени — колбаса.

Крестьянин практичен и бережлив, уважением пользуются тот, у кого минута даром не проходит, кто трудится с раннего утра до глубокой ночи. Подобное

отношение к труду сохранялось и в колхозной жизни, по крайней мере до начала 60-х годов. «Раньше» работали лучше, добросовестнее, технику берегли. «Люди верили в светлое будущее, что оно вот-вот настанет. На работу шли как на праздник, с гармошкой, с песнями, и какие бы ни были усталые, возвращались тоже с песнями. А выходили работать не как теперь: к такому-то часу и до такого-то, — нет, солнышко нас в кровати не заставало. Уйдем раненько да придем позднечко — вот и жили хорошо. Поля удобряли навозом да делали все вовремя; корма были хорошего качества»(А.П.Крутов). Особой атмосферой, по воспоминаниям С.Л.Грачева, было наполнено раннеколхозное время: «На трудодень получали 10, 20 коп. А жили весело, молодежь. Не как сейчас. Праздники справляли религиозные. Пивышко варят, самогонки нагонят и гуляют. А сейчас каждый день праздник, как водка, так и все». «Сейчас вон как? Не работает человек, ленится, и как будто так и надо. А раньше тому, кто не работает, не флаг вешали, а рогожку на палке. До коллективизации лучше, вольнее как-то было жить. Ну и первые колхозные годы были неплохие. Лошадей было много, потом трактора пошли...» (Д.А.Толмачев). С крестьянским трудом связываются и представления о хорошей жизни. «Нашей Никольщине больше 300 лет, но я хотел бы, чтобы она была вечно, чтобы люди жили хорошо, всего было вдоволь, но для этого надо трудиться в поте лица...» (А.П.Крутов) ²⁴⁹ .

Оценка «раньше — теперь» обязательно дается в моральном ключе. «Раньше» люди четко знали, когда время работе, когда — празднику, соблюдали посты, пили мало, в меру, только в праздники, уважительно относились друг к другу и особенно к старшим, совесть у людей была.. Воровали — но в меру. «Нравственные качества людей были выше. Люди друг друга не оскорбляли, уважали, называли по имени — отчеству. Дети всегда здоровались со взрослыми. Школьники работали в колхозе после занятий, а летом — тем более»

(А.П.Крутов). Теперь никто никого не боится, а раньше слушали или старшего в семье, или бригадира колхозного (А.С.Семенова) ²⁵⁰.

Крестьянам свойственно оценивать и руководителя по человеческим, а не профессиональным качествам. Помнят разных председателей, но прежде всего таких, при которых крестьяне «вздохнули». Председатель — между властью и крестьянами. М.И.Шилкина: «У нас как посевная или косим — полно уполномоченных. А тогда же зерно таскали. Только этим и жили. Председатель же свой был. Кто из них стыдил и запрещал, а кто только погрозится, чтобы много не набирали. Иван Васильевич, бывало, только скажет: «Вы, бабы, поаккуратнее, чтобы я за вас не отвечал». А так он ни разу не запрещал». А.С.Семенова: «Хороший он был председатель. И ведь неграмотный он был, расписаться, говорить, толком не умел. И бывало, все шутками, все шутками Виктор Кузьмич разговаривал: и со старым, и с малым. Со всеми, бывало, покаякает. Бричку останавливает, ногу свесит и подзадоривает: »Так, так, дело — не дело, работайте, бабоньки, работайте, солнце еще высоко«... Хороший был мужик... Правда, вот этот, давешний, тоже хороший был. Обходительный — и со старым, и с малым». Вспоминала она и еще одного председателя, защищавшего колхозников от приехавшего из города начальника. А.П.Крутов, например, считает, что «руководитель, особенно высшего ранга, должен быть хорошим человеком во всех отношениях». Интересно, что в современных реформированных хозяйствах — акционерных обществах, товариществах и т.п. — люди стремятся оценивать руководителя прежде всего по деловым, профессиональным качествам.

Любопытна и оценка крестьянами старшего поколения работы самого председателя или бригадира. Ценится не простое управление председателем из конторы, а непременно личное наблюдение за производствен-

ными процессами. Правда, это было это было легко осуществимо до конца 50-х годов, до укрупнения колхозов. Так, А.П.Крутов вспоминал уважаемого им председателя: «Объедет, бывало, на лошади все поля, все фермы, почти в каждый дом заглянет, как да что сделано, — все это до того, как придет в правление на планерку. А сейчас председатель колхоза, может, раз в год, и заглянет на Никольщину». Ему вторила А.С.Семенова: «Раньше порядку было больше, хоть и жили бедно. Сейчас бригадир-то не ходит по окошкам. А тогда бригадир к каждому дому подъедет, в окошко стукнет кнутом:»На работу, на работу! Торопись, дело стоит!»²⁵¹. Чего больше в этих воспоминаниях: сожаления по поводу утерянной ответственности или сокрушения по тому, что прежде, чем потерять эту ответственность, крестьянин принужден был работать по указке? Разве на своем поле он работал, понукаемый кем-то? Потому и лежат в памяти два пласта «раньше», находя один на другой и противореча друг другу. Но здесь все же надо отметить, что «раньше» в крестьянских мемуарах ассоциируется прежде всего со своим, собственным трудом, а не своей землей. Дело в том, что всегда при крестьянах оставалась их приусадебная земля, которую они по большому счету и считают своей. Другое дело, что размеры хозяйства крестьянского двора под ударами власти все больше сужались, не случайна такая поразительная память на размеры налогов, которыми оно облагалось.

При чтении крестьянских мемуаров не покидает ощущение двойственности оценок «раньше». В этом «раньше» было все.

А.П.Крутов описывает, как долго раздумывали крестьяне северной деревни, вступать ли в колхоз; каким налогом облагались единоличники; как много работали родители в колхозе и как мало получали. В его памяти остались лошади, прибежавшие первое время домой с колхозной конюшни: «как только выпустят, они

галопом домой. Голову клали на подоконник и ржали». Похожий эпизод, кстати, сохранился в одном из рассказов В.Шаламова. Очень крепко врезались в память размеры налогов, поэтому подробно — по годам и по видам продукции — расписываются эти налоги. «Налоговый агент был всегда настроен против народа». Голодными годы (например, в Вологодской деревне 1937-1940 годы) были не из-за неурожая, а потому, что задушили налогами. «Нам внушали, что государству надо сдать зерно, так как везде голод, нужно выручать, вот и сдавали, роптали, но не очень». Вспоминают, как до войны прижимали крестьянские индивидуальные хозяйства, так после войны еще добавили нажимы на колхозы. В разные годы дети, а когда и взрослые, вынуждены были идти собирать милостыню — куски, чтобы не умереть с голоду. Так ходили младшие сестры А.П.Крутова в начале войны, мать А.С.Семеновой в голодный 1933 год ²⁵².

Весьма противоречиво, хотя в этом есть своя логика, оценивает «раньше» А.С.Семенова: «Нам и до колхозов было хорошо, и так!» До колхозов было хорошо, потому что было свое индивидуальное крестьянское хозяйство, к которому приучали с малолетства, «до колхозов ты хозяин был». Плохо же было то, что нужда заставляла, что жили по-всякому, бедно, особенно хорошей жизни не видели. А с колхозами жизнь стала лучше, потому что легче. В колхозе совершенно изменилось отношение к труду. В колхозе, в отличие от своего единоличества, не надо особо стараться. Все делается само собой: «Колхоз сам привезет». Как власть выступает неким большим и сторонним образованием по отношению к крестьянам, так и колхоз видится как нечто внешнее, хотя в колхозе прошла основная часть жизни. Пройти-то прошла, но думы при этом были о своем личном хозяйстве.

То, что может восприниматься как произвол властей, крестьяне описывают в терминах: «обида», «несправедливость». Иногда прорываются более сильные, как

в случае с А.С.Семеновой, заявившей, что «советская власть гробит людей». И за этим последовал арест и суд. Поэтому «мягкая» оценка может объясняться элементарным чувством самосохранения. До сих пор в крестьянстве (и не только в нем) живет страх. Совершенно не случайно появление в рассказе О.С.Калиновой о коллективизации замечания, обращенного к интервью: «Сынок, а меня не посадят за это, что я вот тебе говорю?.. А то я Вам расскажу правду, а меня возьмут да арестуют. Кто-нибудь прочитает и скажет: «Вот, наплела бабка...». С аналогичными опасениями крестьян — независимо от того, касаются их суждения прошлого или настоящего — во время бесед с сельскими жителями приходится сталкиваться часто. Между тем воспоминания О.С.Калиновой о коллективизации как раз больше повествовательны, чем оценочны, лишь нанизанные одна на другую фразы передают атмосферу тех лет: «в 1929 г. коммунисты и комсомольцы в колхоз начали стогнать; собрания были; кто сразу вступал, а кто стеснялся, сомневался; боялись его, колхоза; пришлые люди были, назначенные; «точка» или в колхоз; собрание решало; давали время на раздумье; раз власть велит; не хочешь, значит ты уже враг; забирали людей в коллективизацию; и в революцию, и в коллективизацию и перед войной такое было; за палочки работали; пережили мы и голод, и холод...». Правда, на общем собрании, устроенном по поводу организации колхоза, О.С.Калинова — совершенно неожиданно для себя и чисто по-женски — выразила все свое отношение к происходящему. Оно в тот момент приняло характер не просто оценки — приговора. В хате было жарко, собралось много народу, а Ольга Семеновна была в полушубке. Ей захотелось раздеться, а пуговица никак не расстегивалась. Полушубки были своего, деревенского производства, хорошие. Вот только пуговицы в деревне тогда не продавались, были самодельные, деревянные.

Ольга Семеновна возьми да скажи: «Фу, чертова советская пуговица, — никак не застегивается!» Это и есть ментальное: подсознательное, готовое вырваться или вырывающееся наружу. Счастье Ольги Семеновны, что хотя «пришлый», ведущий собрание, услышал ее слова и пообещал загнать туда, где Макар телят не пас, все обошлось «просто» испугом ²⁵³.

Моральная оценка происходящего весьма характерна и типична для крестьян. Автору этих строк неоднократно приходилось слышать от крестьян оценки того или иного явления, выставленные по шкале «справедливо-несправедливо». А.П.Крутов описывает самоуправство председателя колхоза в 30-е годы, добавляя при этом: «Многие крестьяне, теперешние колхозники, были на него *в обиде* (подчеркнуто нами — И.К.). Но люди боялись, что он мог сделать все, что угодно, вплоть до раскулачивания, высылки, потому ничего не говорили». Коллективизация принесла с собой очень много «несправедливого»: раскулачивание работающих, злоупотребления председателей, нарушение сложившейся иерархии, подъем наверх в деревне тех, кто «плохо вел крестьянское хозяйство».

В воспоминаниях отразилось совершенно четко: бедняки, голытьба, те, кто не умел и не хотел вести крестьянское хозяйство, жаждали обогатиться за счет раскулачивания зажиточных. «Они вели разгульную жизнь, навоз на поле не вывозили, поэтому и урожаи у них были плохие, отсюда и скот кормить было нечем, меньше и скота держали» (А.П.Крутов). «Беднота шла, образовала колхоз. Было таких в деревне пять-шесть, они и делали коллективизацию. Если сказать честно, это в основном лентяи были, лентяи, кто не хотел работать, жили как попало» (С.Л.Грачев). Даже Д.А.Толмачев, семья которого имела опыт работы на кулаков, а в 1929 г. добровольно вошла в колхоз, считает, что раскулачивали лучших, «которые работали, трудились, жили

как люди... А вот эту шоблу, голытьбу-то эту, — она осталась»²⁵⁴. Именно бедняки выступали за уравнивание всех, именно от бедняков исходило отношение к колхозному, как к чему-то чужому («не как раньше к своему»).

Несправедливого было много и после коллективизации, она скорее начала, открыла собой «эру несправедливости». Давление властей, коллективизация, отношения, складывающиеся в колхозной деревне, постепенно подтачивали одни нормы крестьянской жизни и, напротив, делали актуальными те из них, которые в крестьяноведческой литературе объединяются понятием «оружие слабых»: тихое, малозаметное, ежедневное сопротивление «чужим». «Вызов» власти приводит к крестьянскому «ответу». Память зафиксировала те моменты жизни деревни и своей семьи, когда крестьяне вынуждены были принимать новые правила игры.

Но если, по версии А.П.Крутова, власть наступала на крестьянство, а ему ничего не оставалось, кроме собственного крестьянского труда, то воспоминания других крестьян рисуют нам уже другую картину. Воспоминания становятся прекрасным проявлением и отражением деформации традиционной крестьянской морали, изменения системы ценностей в условиях аграрной модернизации. Сказать, что эти изменения произошли только в советское время, нельзя, поскольку опыт выживания, по-разному понимаемая в отношении своих и чужих мораль всегда были свойственны крестьянству, что отмечали и исследователи крестьянского быта конца XIX — начала XX, и демонстрируют настоящие крестьянские мемуары. Другое дело — формы и масштабы явления.

В колхозное время (включая и 1928-1929 годы, когда начала меняться политика власти в деревне), то есть в период очередного, мощного рывка модернизации, сопровождавшегося давлением государства, насилием, на первый план вышли такие открытые формы, как воровство, уход из общественного (колхозного производ-

ства), уход=бегство в город. Но было еще много неявных, скрытых форм, отражающих разные степени тихого сопротивления. Уход из крестьянства, превращение в некрестьянина — вполне нормальное, естественное явление модернизации. Он же с форсированной индустриализацией и массовой коллективизацией превратился в форму пассивного сопротивления власти.

В колхозное время воровство стало наиболее доступным и распространенным «оружием слабых». Д.А. Толкачев вспоминал, что воровство существовало и в старое время: «Хоть и при барине, и при управляющем... а все равно воровали, как и сейчас. Завсегда хитрил русский человек. А иначе не проживешь». Отец Дмитрия Александровича рассказывал, как уносил с барской конюшни нужные в его шорном ремесле вещи, как умудрялись разжиться барским зерном. Весь этот опыт пригодился впоследствии в колхозе и отцу, и самому Дмитрию Александровичу. Отец, как шорник, получал в колхозе месячную карту: на семью из пяти человек пять фунтов масла. В «масленке» кладовщик, лентяй, отправлял отца наливать масло самого: «Кладовщик велит: «Иди, наливай. Как нальешь черпак, говори — «раз»! Еще нальешь, — говори — «два». А я тут палочки буду на бумажке рисовать». А отец нальет черпак, потом еще пять, и тогда только — «раз». И вместо двух килограммов отец наливал десять или двенадцать литров. И несет этот бидон эдак на отлете, будто он совсем легкий». Свое воровство в колхозе Дмитрий Александрович объяснял тем, что работали только «за палочки». Но воровство и у барина, и в колхозе можно было оправдать: забирали свое, трудовое. Это было и не воровством, а восстановлением справедливости. Опять-таки, воровали из колхоза для своего же подсобного хозяйства, где так же «горбатились». А вот свою соседку Дмитрий Александрович осуждает, потому что она норовит все урвать,

своровать с колхозных полей, а не вырастить на своем участке. Осуждения заслуживают те, кто не хочет работать, а ворует ²⁵⁵.

Воспоминания А.С.Семеновы также не лишены некоторых подробностей о том, как использовали крестьяне свое «оружие слабых». Воровали зерно в колхозе, а потом в погребе, чтобы не видно и не слышно было, мололи. Из привезенного зерна Антонина Степановна «бывало, по ведру намалывала» в своем подвале. И все же ей самой нужно было моральное оправдание для такого поступка: «Ведь сроду воруют, чаво там говорить! Сроду ведь недостатки да нехватки». За свою жизнь Антонина Степановна и ее односельчане «все ведь воровали! Керосин воровали, хлеб воровали, фураж воровали!». Могло ли ее остановить что-либо? Только страх, глубоко сидящий в памяти, основанный на опыте раскулачивания, страх, что схватят за руку, отберут, посадят в тюрьму, вышлют. И несмотря на это, тащила — как могла и сколько могла. Потому что считала, что права, что «в колхозе — нельзя не воровать. Не проживешь иначе...» Это считалось естественным и моральным. Но вот у своих, у людей, у соседей воровать было нельзя, здесь действовал моральный императив. Поэтому нет ничего удивительного в той двойной морали, которая исповедовалась в семье: «Нас Леня не приучал воровать. Скажет, бывало: «Пускай бедный, но честный!»... Но в колхозе Леня воровал». В последние годы А.С.Семенову, как и Д.А.Толмачева, возмущали масштабы воровства, развернувшегося в колхозе. Если раньше из колхоза тащили понемногу, то теперь — возами и машинами ²⁵⁶.

М.И.Шилкина рисует совершенно иное поведение в подобной ситуации. Ее воспоминания становятся своеобразной энциклопедией ежедневного выживания. Это воспоминания крестьянки, судьба которой связана с черноземным Центром России, регионом, несмотря на свое природное плодородие, подверженном в XIX-XX вв. все большему оскудению.

М.И.Шилкина, как и другие крестьяне, не представляет своей жизни без работы, и в 75 лет полна энергии, ее детище — огород, на котором она проводит все время, умудряясь иметь с него доходы. И муж у нее был работающий, уважаемый. Мария Ивановна никогда не ленилась. Но прежде всего она не ленилась на своем личном подворье, для поддержания которого она использует свою работу в колхозе. Воспроизведем ее слова: «Я никогда не ленилась. На огород сил не жалела. «Штатной» работала на коровнике, то привозила оттуда навоз. Запрягала корову одну, к этому я приучала ее и привозила солому с поля. Ее я клала на подстилку». Потом смешивала солому с навозом, убирали в кучу и домой увозила. Из такого навоза получалось хорошее топливо, и М.И. вместе со свекровью продавали его. И на огород навоз вывозила. Позже объемы вывезенного навоза возросли, для этой цели уже использовали колхозную лошадь мужа и соседа.

В отличие от А.П.Крутова, С.Л.Грачева, А.С.Семеновой ее в принципе мало волнуют и заботят изменения, которые произошли в крестьянстве. Она сама находится в эпицентре этих изменений. Для нее практически не существует сравнения по шкале «раньше — теперь». В отцовской семье было много детей и мало достатка, поэтому одиночная жизнь запомнилась только несколькими деталями, связанными главным образом с едой. Даже традиционный для деревни авторитет старшего в роде (семье) она воспринимает сквозь призму обеденного стола, а не распоряжений по хозяйству, как А.П.Крутов и С.Л.Грачев. Ее воспоминания — сплошной, единый поток. В ней, безусловно, есть и значительные даты жизни — замужество в 1935 г., смерть мужа в 1990 г. Есть и важные даты, отмечающие переход с одной работы на другую, по-своему для М.И.Шилкиной — рубежи. Оставаясь жить в деревне и не бросая своего хозяйства, она по возможности избегала работы в колхозе (там работали отец, муж), устроившись уборщицей

в сбербанке. Ее позиция заключалась в том, чтобы не быть колхозницей. На работу в колхоз вынуждена была пойти только в 1939 г., после того, как председатель запретил пускать корову в стадо на колхозные поля. Всю войну работала в колхозе, но спустя некоторое время смогла устроиться в ветлечебницу. Здесь была постоянная зарплата, а главное «поработаю с утра — и свободна целый день. Можно у себя в хозяйстве своими делами управлять». А потом с начала 60-х годов работала в совхозной столовой, откуда в 1973 г. ушла на пенсию. Таким образом, выбор места работы определялся в конечном счете возможностью ведения своего хозяйства, только в одном случае устраивала небольшая загруженность, а в другом — близость к котлу (в прямом и переносном смысле), от которого и самой достанется, и собственной скотине. Колхоз и здесь не был исключением. Например, всегда старались пойти домой на обед : «Идешь же домой, а в фуфайке рукава завяжешь веревочкой, и туда зерна насыпешь полные. Накинешь ее на себя и домой. Работали ведь за так в колхозе, за палочки. Только и барышу, что украдешь. Вот и несли домой зерно. А при посадке реже будешь сажать. Самим-то кормиться нужно было!». Мария Ивановна признавалась, что больше уносила из колхоза, чем зарабатывала. В столовой же место было «очень добычное», она и разживаться стала, как в столовую пошла работать. Особняком стоят четыре года, проведенные М.И.Шилкиной в конце 60-х годов в тюрьме и колонии (правда, это не было связано напрямую с работой в столовой). Они, как и годы войны, также отмечены прежде всего опытом выживания. В тюрьме М.И.Шилкиной удалось устроиться поваром, причем готовила для начальства, в колонии — тоже работала поваром, всегда была сыта, да еще и банки тушенки удавалось припрятывать. Поправилась М.И. там, стала «белая, гладкая». И заключенные, вопреки ожиданиям и страхам, оказа-

лись не какими-то «шалавами, вуркаганками», а вполне «приличными» людьми — главными бухгалтерами, врачами, «с накрученными кудрями и покрашенными губами»: эпоха «развитого социализма» вступала в свои права. Память о днях, проведенных в заключении, осталась светлой. В заключении был реализован личный опыт, выработанный еще в годы работы в колхозе и особенно — в годы войны. Война осталась в памяти временем, когда «неплохо пожили, сытно ели». Так уж распорядилась судьба, что люди охотно шли к ним на постой, квартировать, расплачиваясь продуктами. Однажды, после поста военных, осталось столько мяса, что М.И. (живя в вместе со свекровью) продала часть мяса — отцу — *подешевле* (подч. нами — И.К.), где-то 30 кг, его брату (то есть своему дяде) — 15 кг.

Интересно, что М.И.Шилкина, действуя вполне в духе крестьянской «моральной экономики», понимая ее как право каждого на необходимый жизненный ресурс, распространяет ее на все большое общество. Живя в деревне, она тем не менее делает выходы за пределы деревенского сообщества, оставаясь по сути крестьянкой и вне этого сообщества. Характерно ее рассуждение о том, что она «никого не обижала», «мясо у рабочих не воровала», работая в столовой. Просто много людей питалось, и много отходов оставалось. Она не осуждает тех, кто тоже «берет себе», наоборот, признает подобное «право» за другими, в частности теми, кто «при должности». Она следует логике старой поговорки «от трудов праведных не наживешь палат каменных», заявляя, что с зарплаты жить хорошо не будешь. Она сокрушается, что муж, коммунист был очень честным — «каких уже нет теперь», — «необычным», что «он не мог всякие дела обделывать». Она всю жизнь рвалась к «хорошей жизни», но ее представления об этой жизни противоречивы, как противоречива сама цель: уйти из крестьянства, стремясь к нему и оставаясь

ясь в нем. Постепенно расширялись символы «хорошей жизни»: сначала это просто сытая жизнь, затем — все более материально обеспеченная, причем все более разнообразная: в нее включается типичный для 70-х годов «набор» «простого советского человека» — хрусталь, золото и прочее, что было дефицитным, что можно было достать «по благу». Она пользуется этим словом, имевшим особую ауру в советской повседневности («блат выше Наркомата»), словом советской «модернити», пришедшим на смену традиционно крестьянским «по-родственному», «по-соседски» (впрочем, не только крестьянским — вспомним героев А.С.Грибоедова, М.Е.Салтыкова-Щедрина и других), но от этого не изменившим своей глубинной сути. «Хорошая жизнь» для М.И. — это и «чистая» работа, не тяжелый ручной труд. Сама полуграмотная, она всю жизнь пахала, сеяла, косила, а потому несколько свысока глядит на тех, «просто сидит и пишет». Но судьба тех женщин, кто выучились, живут в городе и уж тем более замужем за большими начальниками, не дает ей покоя.

То, что М.И.Шилкина не реализовала в своей жизни, она пыталась реализовать в судьбе своих дочерей. Обе они — не без влияния родителей — покинули деревню и осели в городе. Младшая дочь окончила техникум и могла бы продолжить учебу в вузе, чтобы «не руками работать, а только командовать». Но по семейным обстоятельствам не получилось, теперь работает главным поваром, даже машину смогли купить. Жизнь дочерей М.И. стала в чем-то зеркальным отражением жизни матери. Обе дочери живут на краю города. Возле окон себе земли взяли. Завели хозяйство — поросят, даже бычка²⁵⁷. Крестьянское ли не отпускает?

В чем-то близкий, а в чем-то обратный М.И.Шилкиной опыт демонстрирует О.И.Калинова. «Дед ушел от крестьянства, и я за ним. Я ж не специально, — а где он, там и я» — вот ее комментарий собственного жиз-

ненного пути. Самая старшая из крестьян, чьи мемуары вошли в книгу «Голоса крестьян» — она родилась в 1902 году, — Ольга Семеновна еще до революции ходила работать по людям, жила у них. Сначала подростком нянчила чужих детей, по хозяйским дворам. А постарше и в других деревнях работала. Семья бедствовала постоянно. Тем не менее Ольга Семеновна хорошо запомнила, когда «панов громили бедняки. И себе — кто чего смог, брал... Мой отец на это не пошел... Мой отец никогда на это не шел, на разбой». При этом отец и дочь постоянно учил, чтобы не смела у богатых ничего брать: «У них, у богатых, дюже много завистливых вещей. Так ты не завидуй! Ты берегись — тебе будут подлог делать...». Запомнила Ольга Семеновна и рассказы родителей, как наказывали мужики воров, залезавших в их амбары. Впечатляющее было зрелище! Даже в голодном 1933 году Ольга Семеновна не смогла «перешагнуть через себя»: как-то ранней весной она собирала крапиву и наткнулась на привязанного в кустах телка. Его, видно, ночью кто-то украл. Ольга Семеновна теленка привязь перерезала: «Говорю: «Ну иди с Богом, — может, будешь живой... А уж что с ним было — уцелел он или забрал тот, который его украл — я не знаю. Вот такой тогда голод был! Кто кого... Кто кого обкрадет и кто кого обманет...».

Революция и гражданская война здесь, на Нижнем Поволжье, запомнились лишь бесконечной сменой власти «белых» и «красных». Голодный 1921 год едва пережили. В 1922 году Ольга Семеновна вышла замуж в семью крепкую, середняцкую. Когда же шла под венец — все на ней было чужое. Потом Ольга Семеновна вместе с мужем пережили коллективизацию, несколько лет работы в колхозе, голод 1933 года.

В том же 1933 году мужа не послали работать на почту в соседнюю станицу, Ольга Семеновна устроилась техничкой. Там уже стали получше жить. И на ра-

боте были в почете, и образ жизни изменился: стали в компании ходить, собираться по праздникам. Потом в конце 30-х вернулись в свое село. Муж продолжал служить на почте, Ольга Семеновна оставалась дома: «Но нас все равно в колхоз гоняли, на сап. Мы помогали трупы закапывать, скотину сапную. Нам за это трудодни шли. Но я в колхозе уже не работала. Вернее, работала, но временно». Потом после войны муж работал плотником, а Ольга Семеновна занималась домашним хозяйством. Она не стремилась быть колхозницей, но и не стремилась ею не быть.

Как и в случае с М.И.Шилкиной, уход О.С.Калиновой из крестьянства де-юре не привел к уходу из крестьянства де-факто. Однако этот уход=неуход пролегал по разным дорогам. М.И.Шилкиной свойственна ориентация на новые образцы, хотя ее поведение в модернизированном обществе воспроизводит и крестьянские стереотипы. Вектор ее движения – выше, дальше, больше. Конечно, здесь много значит разница в возрасте: Мария Ивановна родилась в 1916 году, а значит, она на 14 лет моложе Ольги Семеновны. Это очень важный момент, поскольку М.И.Шилкина вступала в активный трудовой возраст на гребне «сталинской революции сверху». Активная социализация О.С.Калиновой – при всех революционных катаклизмах – пришлась на время преобладания единоличного крестьянского хозяйства. Более того, попав в более обеспеченную семью мужа и в целом – в теплую атмосферу семьи после многих лет работы по найму, она 20-е годы воспринимает как устоявшуюся патриархальность, когда все велось, «как нашим родителям приказывали их родители, наши деды то есть, а нам – наши родители. И все это велось из рода в род». Видимо, это было по-своему счастливое время, время, когда «не говорили, что дымом воняет. В чугунах стряпали, и здоровые были. И не умирали. И пост всегда соблюдали». Не случайно

«старинке» в воспоминаниях О.С.Калиновой отводится столь значительное место. Тогда же в сознание Ольги Семеновны были заложены представления о хорошей жизни, которая не равнозначна богатой жизни. Она помнила, как в революцию пошло прахом богатство многих: «Я не завидовала на богатство. И не хочу быть богатой. Так, нормально надо жить — и все. И чтоб своим трудом все это нажить. Вот это я люблю! А чтоб, это, таким — побочным, чужим, темным, — это нет». Наверно, этими представлениями объясняется ее поведение в голодном 1933 году, когда судьба в лице привязанного телка искушала ее. Ведь у нее дома была корова, и телок стал бы дополнительным богатством.

О.С.Калинова демонстрирует приверженность и новым модернизированным ценностям. Обе женщины понимают значение образования как старта для изменения крестьянского статуса. Но в отличие от неграмотной М.И.Шилкиной, О.С.Калиновой важно быть грамотной и самой, и выучить собственных детей. Ей интересно и важно то, что творится за пределами сельского общества. Хотя ее суждения простые, обывательские, смена на ее веку разных властей принесла ей некоторый опыт, позволяющий оценивать ту или иную власть. Для нее ценность советской власти определяется установлением равноправия женщин, в том числе возможностью вхождения женщины во властные структуры. В отношениях власти с крестьянством она видит постепенное изживание насилия и установление приемлемых, с ее точки зрения, отношений с деревней: пока власть строилась, она прижимала крестьян, устанавливала высокий налог, кулачила. Потом жизнь пришла к лучшему. «Все было, все доступно, все в порядке». И вот в начале 90-х власть вновь обрекает крестьян на страх, страдания и нищету: «Сейчас еще хуже стало, чем в самые поганые времена! Тогда хоть одна власть была, — хоть была Николаевская, так она ж была одна!»

Опять многовласть. О.С.Калинова, пожалуй, острее других улавливает, то что в научной литературе обозначается как кризис идентичности: «Даже не понимаю, какая у нас нынче власть и кто мы есть?»²⁵⁸. Удивительное признание для крестьянки. Для советского человека — вряд ли.

М.И.Шилкина и О.С.Калинова продемонстрировали примеры выхода за пределы крестьянского общества, оставаясь тем не менее в нем. Надо сказать, что моменты такого выхода были и у других. Мужчины служили в армии и воевали. Было ли у них стремление остаться в городе? Была ли возможность? Рассматривала ли они ее как необходимость? Во всяком случае видны метания людей, вынужденных силой обстоятельств, а не по собственному желанию уходить из деревни. Все крестьяне отмечают, что коллективизация выбила наиболее сильные, хозяйственные слои деревни, заставила многих бежать в город. Так, родной брат А.П.Крутова, Петр (1914 г.р.), когда узнал, что были организованы подготовительные курсы в педтехникум, ушел туда, за 75 км, пешком. Сам А.П.Крутов, будучи моложе брата на восемь лет, учился уже у него, потом работал воспитателем в детдоме. Однако в 1938 г. вынужден был пойти в колхоз, так как на трудовень давали 200 г хлеба, а дома все было выбрано вперед. После войны инвалидом III группы вернулся в колхоз. Все его братья и сестры разъехались в города, леспромхозовские поселки.

С.Л.Грачев в конце 20-х потерял отца, мать второй раз вышла замуж и он во второй семье оказался «девятым ртом». В 12 лет пошел работать в химлесхоз, а потом уехал к тетке в Ленинград. Во время паспортизации 1933 г. не дождался получения документа и вернулся домой. Два года проработал в колхозе, по трудовням ничего не платили. В 1936 г. завербовался на строительство в Ленинград, а в 1937 г. его взяли в армию. После армии едва успел завести семью — война.

Был ранен, получил II группу. После войны вернулся в деревню, работал механиком на подстанции, подрабатывал и в колхозе, а жена больше 30 лет работала в колхозе. Старшего своего сына, 1941 года рождения, Сергей Леонтьевич, видимо, надоумил завербоваться прямо из армии на комсомольскую стройку в Сибирь. Это было в начале 60-х годов, и если бы сын вернулся, его обязательно «запрягли бы в колхоз». Там сын сразу паспорт получил. Средний сын, 1948 года рождения, после армии завербовался на Север. И лишь младший, 1950 года рождения, после армии работает в колхозе шофером. Ведь в 70-е годы в колхозах стали платить зарплату.

Семья А.С.Семеновой боялась выселения во время коллективизации, но в голод 1933 года она ушла пешком в Саратов без всяких справок. В Саратове устроилась на фабрику, где работали другие родственники, убежавшие еще в раскулачивание. Но без документов проработала только месяц и вынуждена была вернуться домой. Позже – в конце 50-х – примеру матери последовала дочь, которую не отпускали из колхоза. Но она все-таки убежала в Саратов «зарабатывать на платье и пальто». В это же время младший сын Д.А.Толмачева, получив паспорт, поехал в Саратов «устраиваться на легкую жизнь».

С наибольшей силой последствия коллективизации отразились на судьбе А.М.Ганцевич (1908 г.р.). Анна Матвеевна была твердо уверена, что до коллективизации жили плохо те, кто не хотел работать. Модернизация в виде двух наиболее сильных по своим действиям, проявлениям и результатам способов решения крестьянского вопроса – столыпинская аграрная реформа и коллективизация – прошли через ее семью. Однако столыпинская модернизация все же оказалась благом для семьи А.М.Ганцевич, уехавшей от бедности, а главное от забитости и безысходности в западнобелорусском селе. Сибирь оказалась под стать духу семьи, сибирс-

кая жизнь укрепила их крестьянское самосознание. Сибирь стала синонимом трудолюбивой и вольной крестьянской жизни. Активная роль сельского схода не мешала проявляться индивидуальности, и это для А.М.Ганцевич было весьма важным и сильным обстоятельством «раньше». Для нее, раскулаченной сибирской крестьянки, дочери столыпинских переселенцев, ставшей «лишенкой» в годы коллективизации, «раньше» однозначно связывается с временем единоличной жизни после переселения в Сибирь. В 20-е годы в хозяйстве была пара лошадей, пара коров, пара свиней, 10-15 овец, засевали примерно 4 га. Однако А.М.Ганцевич считает, что материального благополучия в семье не было, поскольку все заработанные деньги шли на хозяйственные нужды, а не на потребление. Но семья все время стремилась, чтобы хозяйство было крепким, основательным, прибыльным. Поэтому: «до кулачества жили неплохо и материально, и вообще неплохо». В подобной оценке прошлой жизни нет противоречия. Если смотреть на крестьянское хозяйство с точки зрения тех, кого захлестнула волна раскулачивания, это хозяйство было трудовым и неэксплуататорским, точнее, по Чаюнову, самоэксплуаторским. Если оценивается жизнь по шкале «раньше-теперь», то есть речь идет о ее содержании и качестве, тогда возможности крестьянского хозяйства трактуются иначе. В этом «раньше» «крестьянин как хотел, так и жил». Эта крестьянская вольность допускала свободу выбора, возможность жить так или иначе, жить неодинаково, отличаясь от других. В то же время существовали нормы повседневной крестьянской жизни — в семье и крестьянском сообществе, которые были безусловны (почитание старших, авторитет мужа, соблюдение обычаев и ритуалов). Поэтому Анна Матвеевна и коллективизацию воспринимала как великое упрощение, поравнение, которое претило ей: «Коллективизация раскидала нашу дружную семью, лишила

отчего дома, на всех наложила клеймо. Мне вот еще недавно кололи, что я не такая, как все. И в этом она права: с модернизацией входит в общество массовая культура, эталоном которой становится «быть как все». Но и традиционная культура тем и традиционна, что предлагает образцы для подражания: «как наши деды-прадеды жили, так и мы будем». А модернизация, отвергая традиционное мировосприятие, казалось бы, делает ставку на индивидуальное, личностное начало. Но она не отказывается и от образцов, только образцы эти — в сегодняшней или будущей жизни. Не случайно массы, выходящие из традиционного общества, оказываются готовыми принять модернизаторскую устремленность в будущее: за всем этим стоит желание иметь образец как жизненную опору.

Говоря о возможности «жить как хотели», А.М.Ганцевич имеет в виду и отношения крестьянства с властью, противоположные тем, которые установились с началом «великого перелома». Однако трактовка единоличной крестьянской жизни как безусловно вольной опровергается самими же воспоминаниями А.М.Ганцевич. Революция, продразверстка, налоги — все это вовсе не было мелкими укусами власти. Да и гармония личности и коллектива, охраняемая крестьянским сообществом, описанная Анной Матвеевной, существовала до тех пор, пока это сообщество было относительно замкнутым. Быть таковым в условиях модернизации становилось все более затруднительно.

Ссылка в Нарым, освобождение в 1936 году, последующая жизнь под косыми взглядами и перешептываниями людей — «кулачка, не платившая налоги» — не смогли заставить забыть ее крестьянство, а может быть, даже и обострили память. И дело не только в том, что она по-крестьянски цеплялась за жизнь, пользуясь всеми возможными способами: «В войну мы поросенка держали. А власти запрещали. Если найдут у кого — то

хлеб в руки дадут и сфотографируют. Мол, хлебом кормят. А у нас однажды картошки было много. И мы в сараюшке поросенка держали... У нас дверь на замке, а с другой стороны сарая в крыше — дырка. Если придут, то быстро резать. Тогда ничего не будет. Но мы выкормили». Она специально забеременела в войну, чтобы не работать на советскую власть: «Я все смеялась — бронь себе заказала. Для нее оказалось важным не быть колхозницей: «Колхозницей я так никогда и не была! Я была настоящая истинная труженица, крестьянка. Я жила в городе. Я настолько много тяжело работала и только для себя»²⁵⁹.

Судьба Н.А.Кузьминой (1918 г.р.) оказалась совершенно непохожей на судьбу остальных крестьян. Рожденная в одной из деревень Псковской области, расположенной в пограничной с Эстонией территорией, она с середины 30-х годов работала рыбачкой в местном колхозе. В 1950 году по вербовке с двумя детьми выехала в Калининградскую область, где проработала в рыболовецком колхозе до пенсии, до 1973 года. В ее родной деревне не было земли, поэтому жители издавна ловили рыбу и носили ее за несколько десятков километров в «земельные» деревни, где продавали или обменивали на хлеб, масло и т.п. Запомнились и бесконечные поездки в Ленинград зимой. Наталья Алексеевна и по «Невскому ходила пешком, как тут по деревне». В ее воспоминаниях тоже есть отметины «раньше — теперь», но прошлое время не противопоставляется нынешнему, а объединяется с ним. Основания для такого объединения — отношения между людьми, отношения личные, которые и прежде — и до войны, и после войны, и в 60-70-е годы строились на принципах обмана, лжи, несправедливости, предательства. Именно этому посвящена большая часть воспоминаний. В своей реальной жизни она была совершенно далека от крестьянствования. Она была рыбачкой, потом рыбачкой-колхозницей, даже стала «Почетной колхозницей». Од-

нако несмотря на отходнический образ жизни, который сформировался у Н.А.Кузьминой с молодости, она оказывается укорененной в крестьянских представлениях о морали, долге, труде и праздности. Эта укорененность особенно чувствовалась в годы ее работы в Калининградской области, где она длительное время избиралась депутатом местного совета, и где ей приходилось разбирать бесконечные семейные конфликты. Один раз ее даже побили. Ключевыми словами-символами воспоминаний Н.А.Кузьминой стали «водка», «пить», «пьяница». Это не значит, что жизнь других крестьян протекала без горячительных напитков. Наоборот, все мемуары полны воспоминаниями о сваренных ведрах самогона, о припасенных к свадьбам детей бутылках водки и вина. О старой крестьянской жизни крестьяне отзываются как о времени относительно умеренного потребления спиртного, другое дело «теперь» — все пьют много и постоянно. Но в этих мемуарах спиртное все-таки льется ведрами и в общем-то в стороне от наших мемуаристов и их семей, в воспоминаниях Натальи Алексеевны — рекой. Пьющие люди окружали ее на работе постоянно, вся ее жизнь превратилась в вечный бой с «зеленым змием»²⁶⁰. Но ведь эти пьющие скорее всего родились в деревне или родители их были крестьянами. Куда только не заносил бывших крестьян вихрь новой жизни. Воспоминания Н.А.Кузьминой помещены в книге последними и оказываются в этом смысле символичными, как символично и то, что воспоминания А.П.Крутова о патриархальной русской деревне идут первыми.

Выход из крестьянского сообщества в большое общество — серьезная проблема модернизации. Крестьяне производящих и северного района до коллективизации не стремились уйти в город. Те, кто работал по найму или находились в отходе, имели свое маленькое хозяйство. Более того, в 20-е годы еще оседали на зем-

ле. Так, отец Д.А.Толмачева до революции и в первые годы советской власти шорничал, а с покупкой лошади в 1927 г. стал заниматься и земледелием. Вместе с тем, крестьянские истории демонстрируют, что выход начинается подчас задолго до того, как реально осуществляется и — напротив — чем решительнее внешнее выталкивание, тем сильнее не только память о крестьянской жизни, тем сильнее стремление остаться крестьянином. Но и оно имеет свои пределы.

Основной урок, данный старшим поколением сельских жителей, чьи мемуары прошли перед нами — оставаться крестьянами. Свое крестьянство они пронесли через всю жизнь, несмотря на сильнейшее давление создаваемой модернизационной традиции, оставлявшей крестьянство за рамками новой цивилизации. Они так и не стали советскими, не потому что не хотели, а потому что не смогли. Судьба испытывала их на прочность. Они устояли — ценой раскрестьянивания других.

2. Образы прошлого: «здесь и сейчас»

Другие поколения хранят в своей памяти и мир единоличной деревни, и мир колхозной деревни, а вот какие это мир и память — предстоит понять.

Тем, кто родился в 30-е и 40-е годы, в начале 90-х годов было от 40 до 60 лет. Их родители, если и имели опыт жизни в единоличном хозяйстве, то, конечно, уже не такой продолжительный и не столь активный, как в свою очередь их родители.

Колхозная действительность, окружавшая их с малых лет, давала больше оснований к тому, чтобы стремиться в город, чем оставаться в деревне. И все же, с ранних лет работая на подворье или в колхозе, они включались в тот ритм, который был задан старшими поколениями, традициями единоличного хозяйства, вклю-

ченного в поземельную общину. Их жизнь — хотя и не безусловно — в гораздо большей степени, чем у поколений, родившихся двумя-тремя десятилетиями позже, имеет на себе отпечаток этой связи.

У кого детство, у кого время взросления приходилось на военные и послевоенные годы, отцы многих погибли в Великую Отечественную. Они работали в маленьких колхозах и в крупных, и в совхозах. Вся их активная жизнь протекала в рамках колхозно-совхозной системы.

Могли ли и хотели ли их родители рассказать своим детям о прежней — доколхозной жизни? Кто-то рассказывал, кто-то — нет.

Для Светланы Федоровны Л. (1940 год рождения, Тверская область) ее память — основа ее образа жизни, устремлений и желаний, основной ее капитал: «У меня с детства стремление к своему углу, может быть, это гены такие. Хотелось и маму к себе взять. Дом держит, а была бы земля — она держит еще сильнее». От матери и бабушки, которая, правда, умерла, когда Светлане было 12 лет, перешли к ней представления о «раньше», когда была «интересная жизнь». В ее представлении, переданном ей старшими поколениями, жизнь была не тяжелой, а упорядоченной.

Память сохранила образ крепкой и дружной крестьянской семьи со своими устоями и традициями. Здесь и работали, и проводили домашний досуг не так, как другие, почему заслужили прозвище кулаков. Была своя земля, даже свой личный лес, все вместе — гектаров 5-6, 3 коровы и 2 лошади, большой дом-пятистенки. «У бабушки, было много денег, — отмечала Светлана Федоровна, — но потому, что она все сэкономила, а не потому, что кого-то эксплуатировала. Никогда наемной силы у них не было». В семье было четкое разделение обязанностей. Дед вечерами читал. Ссылаясь на рассказы матери, она живописала: «Вечерами собирались: кто чи-

тал, кто прятал, а дед читал жития святых, Новый Завет. Читает-читает, а потом остановится и разъяснит. Он читал и по-старославянски. А священником не был. Икон было очень много, и большие, и поменьше, но особого рвения к вере, фанатизма я не видела». Брат матери учился играть на скрипке, а позже его отправили в Ленинград учиться на врача.

Хозяйство деда раскулачили, все отобрали и выгнали из дома. События навсегда врезались в память матери, которой тогда было лет 26-27, и видимо, неоднократно пересказывались дочери: «Раскулачивали местные — мать все какого-то Егора вспоминала: «Я не даю, не даю вещи (тулуп), а он выхватил наган и говорит: «Ах ты, кулачка, кулацкое отродье, я тебя сейчас застрелю»,- и ударил меня по голове. А дедушка стоит молча, а бабка ругается. Я помоложе, не даюсь. Просто пограбить захотели. Про другие семьи не знаю. У нас была соседка — чуть что, кричала: «кулачка!» — на мать. Отец и брат все работали — какие это мы были кулаки?! Некоторые не работали, хотя земля была. Кустарником все заросло, но с землей тяжело работать, а город — близко. Многие уходили туда работать, многие уезжали в Ленинград на заработки — это было очень модно. Земля, правда, была неважная. А тратить деньги любили. А у нас мать никогда зря не тратила. Все копила на «черный день» — селедки, семечки не давала покупать. А когда деньги сменились, у нее целый мешок денег был, и она по виду была как сумасшедшая: молча сидит перед голландкой (печкой) и кидает в огонь, достает и кидает. Волосы седые — в разные стороны. Так деньги и пропали».

Им удалось с помощью родственников выправить паспорта и скрываться два года в Ленинграде. Затем вернулись в райцентр, где оставалась дочь. Видимо, дед пользовался авторитетом среди односельчан, поскольку из деревни тогда пришли три человека и пригласили его опять жить в своем доме. Они так и сделали, пере-

брались опять в деревню. А в этом доме перебивали уже и конюшня, и зерносклад, ни стекол, ничего не было, только стены остались крепкие.

Печальна судьба деда. Он умер от голода еще в довоенные годы — «такой человек, который всю жизнь работал, имел большие сбережения, много хлеба» — всего этого Светлана Федоровна понять и принять не могла. А дом, построенный очень давно, после смерти бабушки был продан на дрова, по «бросовой цене» (что тоже памятно).

Самое сильное воспоминание всей жизни — голодное послевоенное детство, сбор милостыни. В то же время сама бабушка Светланы Федоровны, по ее выражению, «очень любила милостыню подавать»: «Нищие жили по две-три недели. Жили, сколько хочется. И всех бабушка принимала, большой грех, если не подашь. Еще в 1949 году ходили нищие, и им подавали. Отрежешь и подашь в окно. Нищие — из нашего района в основном. Не только в своей деревне. Некоторые приходили часто. У церкви прямо рядами стояли».

Если коллективизация была пережита как негативный коллективный опыт (хотя бы на уровне семьи как коллектива), то последующие «преобразования», в частности, сселение неперспективных деревень — как личный опыт. Работая в совхозе, Светлана Федоровна вынуждена была поселиться в двухэтажном доме, крайне неудобном, особенно для тех, кто привык держать подсобное хозяйство и все заготавливать впрок; просто некрасивом, неудобном, наспех сделанном, с кривыми стенами. А в душе — родовой дом, окнами в озеро, куда тянет постоянно ²⁶¹.

Анна Ивановна Р. (1938 год рождения, Вологодская область) о родителях матери память сохранила немалое — жили крестьянских хозяйством, которое она посчитала слабым — 1-2 лошади, 2 коровы. В колхоз они вступили сразу, а жить стали хуже, есть было нечего, варили кашу из клевера. Все это рассказывала ба-

бушка, умершая, когда Анне было 20 лет, причем рассказывала часто (видимо, о всем том, что касалось сравнения «до колхозов — после колхозов»), но в памяти Анны Ивановны остались только эти детали, особенно каша.

Бабушка отца, умершая тремя годами раньше своей сватки, «водилась» с маленькой Анной, вероятно, что-то рассказывала, но ничего, кроме отдельных деталей о ее жизни и хозяйстве в памяти Анны не осталось. Скорее всего, ей эти воспоминания, как бывает в таком юном возрасте, были неинтересны. О своем же отце, погибшем в войну, знала очень немного. Самое яркое в памяти об отце — по сути воспоминание старших (видимо, бабушки по отцу): о том, как отец разбил керосиновую лампу в конторе колхоза, помещавшуюся в их доме (сам отец в колхоз сразу не вступил), за что получил во второй половине 30-х два года исправительных работ.

Сохранилась в памяти отдельные детали колхозной жизни довоенной поры: мать обменивала заработанную отцом на производстве ткань на хлеб, так как в колхозе, где работала мать, хлеба давали мало. Война и первые послевоенные годы остались в памяти опытом выживания старших — обменными операциями «продукты-промтовары», работой на лесозаготовках. Мать за два мешка картошки взяла телку.

Сама Анна Ивановна, перестав в 10 классе ходить в школу, пошла в 1955 г. работать телятницей, а с 1969 г., после того, как построили ферму, дояркой. Ей, запомнившей рассказы матери, работавшей в свое время дояркой, пришлось сохранить и память о своих обязанностях на ферме, спустя 30 лет ничуть ни более легких, чем были у матери.

Примерно такие же — весьма общие и скудные — как в анкете — остались воспоминания о хозяйстве родителей и у мужа Анны Ивановны, Ивана Николаевича: практически это хозяйство они не успели вести, так как женились в 1928 г. Зато память о хозяйстве деда,

которому в 20-е годы было за пятьдесят, сохранилась довольно полная. Дед с бабушкой жили по-среднему, как говаривал дед, «не бедствовали»: держали 1-2 лошади, до пяти коров, овец, кур. Дед, видимо, подробно рассказывал внуку о своем хозяйстве, особенно его оснащении: внук, сам уже почти дед, спустя почти 40 лет, подробно перечислил весь инвентарь.

На наш взгляд, эту память помогали хранить и стены дома, в котором жили супруги Р. Это и был, правда перестроенный, дом деда, бывший пятистенок, бывший материальным подтверждением крестьянской основательности предков. Эту же основательность сохранили и сами дети, имеющие в доме (речь, напомним, идет о начале 90-х годов) все самое необходимое в хозяйстве — от бытовой техники до инструментов — с тем расчетом, чтобы ни у кого не одалживаться, корову и трех поросят (чтобы быть круглый год с мясом), а на приусадебном огороде в 26 соток — все необходимые овощи и ягоды для заготовки впрок.

Вслед за старшими поколениями крестьян они сохранили двойственность оценки «раньше-теперь»: веру, что коллективизация нанесла первый сильный удар по крестьянству и убеждение, что «колхозы надо не разорять, а укреплять». И в том, и в другом случае ссылка на опыт родителей: «Выходит, наши родители зря все это делали, создавали? А ведь в колхозах какие урожаи были в их-то годы, как они умели хранить то, что привезли. Все это нужно возродить, вот может быть тогда и накормим страну... Нужно, чтобы каждый человек болел душой за общее дело (как за свое), был ответственен». Любопытное сочетание коллективной и личной памяти: личная память — о том, как «в колхозе хлеба мало давали», а коллективная — о крестьянине как кормильце страны, выполнявшего «первую заповедь колхозника». Вполне объяснима также приверженность и советским, и основным православным праздникам ²⁶².

Память Анны Федоровны Т. (1932 год рождения, Тверская область) сохраняет особую атмосферу той колхозной деревни, когда общественное хозяйство было, как правило, ограничено размерами одной деревни, когда сохранялся микроклимат прежней сельской общности, которая привыкла работать «от зари до зари» и все на себе, а не на машинах. На наш взгляд, стоит привести отрывок из ее воспоминаний, чтобы понять почему «раньше было лучше, и колхоз был лучше»:

«Никогда ни в чем не отказывали ни председателю, ни бригадирю. Лен утром околотим. Когда он отлежится, мы его собираем, сажаем в ригах. Там и сушили его на коленках. До работы должны были снять на своих мялках по 10 кг. До рассвета изомнем, истреpleм 10 кг до темна. Сдаем вышшим качеством. Потом государство отправляет на фабрику.

Мы не понимали ни дня, ни ночи. Все думала: когда мне отдых будет. Народ был сознательный, честный, трудолюбивый. Жали зерно серпами. Обед был на 15 минут — и опять. Упадет колосочек — мы его подбираем и в зубах держим, а сами все жнем. Закончили сноп — этот колосок в сноп воткнешь. А сейчас в полях все валяется и без внимания — всем наплевать.

От работы нельзя было отказаться — что-то надо было поесть, для скота получить сена, вернее, накосить его по кустам. На трудодень получить право косить сено.

Тогда все были добросовестные. Уважали начальство и тех, с кем работать. Нам давали зерном. Зарплаты не было. Деньги давали только в конце года. Зерно мы сами молотим. Траву сушили, и к нам приписывали эвакуированных. У нас многие оставались, они приехали из Ленинграда.

Председателя выбрали сами. Сделали сходку — уже звонят в рельс. Председатель был намечен заранее. Это был самый опытный, хозяйственный мужчина. И колхозники голосуют. Могли отклонить кандидата плохо-

го. С плохим председателем только намучаешься — и бригадиров выбирать самых лучших. Никаких партийных заслуг во внимание не принимали. Председатель мало чем отличался от простых колхозников. Работали вместе с нами от темна до темна.

Раньше работали за конфетки. Бригадир говорит, что 1 сотка стоит 1 конфетку. И мы, девчонки, так и работали. Конфеты были такие маленькие, с сахаром, подушечки. Руки все были в гнойниках. Вечером он несет конфетки. Мы с детства понимали, что такое труд. Сейчас никто и не пойдет на лен, не то что за конфетки».

Пока мать ткала лен, юная Аня доила за нее на колхозной ферме по несколько десятков коров руками, да запаривала корм, для этого вставала в 3 утра. В войну сами копали лопатами по 6 соток (аналогичное свидетельство автор слышала от респондента 1952 года рождения в Тульской области в 1997 г., когда он рассказывал историю своей семьи). Анна Федоровна признавалась, что «не помнит, когда маленькая отдыхала». К тому же она в 18 лет осталась одна с братом на руках и с хозяйством — коровой и поросенком. Единственное, что грело ей душу в жизни «теперь» — это признание: «Я все умею делать. Скажи мне, что надо организовать колхоз, я все знаю, с чего начать, какие работы делать. Хоть весной, хоть под осень».

Она включала в понятие «раньше» многое. Раньше урожаи раньше были лучше, потому что «подчистую» с полей все собирали. Раньше выходных не было, работали сколько надо: стеснялись даже днем по деревне «болтаться». Раньше в центральном селе раньше были большие базары по воскресеньям и в праздник — полное изобилие: носили зерно, картофель, сметану, огурцы, яблоки; возили яйца, мясо, масло. Лошадей было много. Раньше варили на улице пиво. Гуляли дня 3-4. Ходили по домам, пили пиво и самогонку. Зимой ходили на беседку. На беседку от матери приказ — напрямь

два початка (веретена). Жили веселее. Были пляски, игры, развлечения. Раньше дверь не закрывали: где положил, там и возьмешь.

Самое яркое воспоминание — об изобильном довоенном времени: » Держали до войны телят и овец. Мясо солили, оно хранилось до весны на морозе, хотя и без холодильника. Весной его вешали на чердак, и оно не портилось, получали такое вяленое мясо. Это было настоящее объедение. Кадками солили грибы, огурцы. В магазине только конфеты покупали, сахару — по 2 кусочка. Яишню делали в печке. Сами хлеба пекли. Пойдем в поле, отрежем мяса, возьмем кислый творог, напечем оладьев. Кипятили жирное молоко. Его носили в деревянном ведерке с крышечкой. Приносила на поле и муку со сметаной. Все кончали работать, собирались и мы за столом, обедали. Так и кормились. Все руками своими делали. Нам до нови (нового урожая) всего хватало. Было трудно тем, у кого большая семья». Точно также — по контрасту — запомнились и самые голодные — военные и послевоенные годы ²⁶³.

Вполне созвучна ее памяти память Антонины Николаевны Б. (1942 год рождения, Архангельская область). Ее память и память ее сестер о прошлой жизни складывалась на основе рассказов родителей. При этом о жизни бабушек и дедушек лучше всего, естественно, помнила старшая сестра, 1925 года рождения. Все документы, связанные с родителями, хранились у одной из сестер (четырьмя годами младше Антонины), в том числе большая заметка из местной газеты за 60-е годы об отце — солдате первой мировой войны, красном партизане гражданской, председателе колхоза в 30-х, участнике Великой Отечественной.

В памяти ее самой запечатлелись рассказы о лошади в хозяйстве родителей накануне коллективизации, о колебаниях матери по поводу вступления в колхоз. Во второй половине 30-х отец был избран председате-

лем колхоза и затем осужден за то, что выдал голодающим семьям 700 кг фуражного овса. В газетной заметке об отце этот факт приводился (в те годы еще могли так писать), но семейная память хранила подробности, уже недоступные официальной. Как отмечала Тоня, ничего не было сказано, что осужден он был по доносу. Отец год и восемь месяцев отсутствовал дома для всех, но тайком он приходил домой и подкармливал свою большую семью. Его осудили и сослали в дальний лесной участок охотиться и рыбачить, а добытое сдавать государству.

1949 г. — начало учебы в школе и одновременной работы в колхозе стали важной рубежом памяти самой Тони: «Пока в школе училась, ходили на прополку картошки, капусты, ячменя. Сажали картошку, возили сено. Постарше возили силос на лошадях. На дорожных работах возили песок, гравий на дорогу. В зимние каникулы 7-8 классы работали на молотилке. 7, 8, 9 классы три лета ездили на дальние сенокосы за 50-60 км. Заготавливали сена для колхоза. По 100 и более трудодней зарабатывали. В 1958 году после 9-го класса стала работать дояркой: 12-15 коров и все делали вручную. Даже пилили и кололи дрова. Дежурили в ночь. Сами косили силос. Сами сначала на лошадях возили траву, а в последний год — машиной. В те годы работали весело и хорошо. Трудные годы. Мало оплачивали. Работала с 4-х утра до 10-ти вечера, как белка в колесе. Надои были 2,5 тысячи, а позднее -3 тысячи».

И все же колхозная жизнь тех лет стала для нее синонимом доброго «раньше», в котором сохранялись ответственность, честность, организованность, дружелюбие и взаимовыручка людей. Существовали различные промыслы и подсобные производства. Сохранялись колхозные, похожие на прежние общинные, столы — с водкой и песнями. Особенно запомнились «сенные бороды» — время окончания уборки сена на лугу. Отмеча-

лись народные праздники. Все, что было потом в совхозе, с середины 60-х годов, определялось понятием «бесхозяйственность».

Поэтому для нее 1966 год стал тоже рубежным, запомнился последним колхозным обедом, своеобразным помином по колхозу.

Тогда, в 1965 году, «все старались бежать из деревни». Так, одна из сестер окончила институт. Сама Антонина Николаевна, оставшись в деревне, совершила «внутренний уход», перейдя из совхоза в сберкасса²⁶⁴.

Память Александра Петровича Ш. (1935 год рождения, Вологодская область) о хозяйстве родителей имела общий характер, зато он очень много помнил о реорганизации тех или иных хозяйств в 50-60-е годы: укрупнении, разукрупнении, переводе колхозов в совхозы. Самое яркое воспоминание — покупка матерью в 1946 г. коровы за 21 пуд хлеба (хлеб был благодаря сестре-трактористке), корову держали 3-4 года, с ней пережили голод 1946-1947 гг. А после коровы держали уже мелкую живность. Понятно, что помнится и размер налога на крестьянский двор в это время. Вообще память сохранила все то, что отмечено выводом: «Во все времена было жить нелегко». Война — это оставшиеся в деревнях женщины, старики и дети, пахота на коровах и быках. Потом все оценивается преимущественно «со своей колокольни», то есть с позиций крестьянского двора, присутствует оппозиция «колхоз — крестьянский двор». После войны — большие налоги на все, займы, работа в колхозе за палочки. Персонифицируются отдельные периоды деревенского прошлого: «Во времена Хрущева запрещали то скот держать, то косить, так всю скотину и перевели, осталась только в колхозе». Период застоя, или Брежневский период — время, когда «легче дышалось». Конечно, в понимании не столичного интеллектуала, а провинциального (да пожалуй, и столичного тоже) обывателя: »хоть что-то

было в магазинах». И далее подробно перечислялись все продовольственные и промышленные товары, особенно много упоминалось сортов рыбы (отметим, что воспоминание относится к началу 90-х годов, когда в стране власть приступила к «шоковой терапии») ²⁶⁵.

Аналогично расставлены акценты в воспоминаниях и Лидии Ильиничны Б. (1934 год рождения, Тамбовская область). Относительное благополучие родительской семьи — «не резко бедной, не резко богатой» до коллективизации, вступление их в колхоз. Коллективизацию она знала по рассказам, равно как и голод 1933 года, а вот неурожай 1946 года помнила лично, но пережили его относительно благополучно, так как была своя корова. Вновь перечислялись размеры налогов — довоенных (а ведь Лида была еще совсем ребенком) и послевоенных. Правда, трудно сказать, запомнились ли они цепкой детской памятью или потому, что сохранились соответствующие квитанции. Так, до 1941 г. крестьянский двор ее родителей уплачивал : 7 кг масла, 150 яиц, 3 кг шерсти, 1200 «по энтих деньгам» сельхозналога. Брат и сестра шесть дней отработывали налог « за дорогу», иначе надо было платить 20 рублей. После войны — одна жестокость. Осталась в памяти, как дядю за неуплату налога, реквизировав быка, посадили в тюрьму, где он и умер. При Хрущеве тоже много платили. Брежневское время памятно по этому отбору фактов своей надежностью — точным размером чисто символического поземельного налога (80 копеек за сотку) с отменой всех остальных ²⁶⁶.

Память Лидии Васильевны А. (1932 год рождения, Тамбовская область) сохранила большое количество повседневных подробностей жизни ее родителей. Возможно, это связано с тем, что в 1992 г. была еще жива ее 80-летняя мать, полная сил, энергии и воспоминаний. Вероятно, дело не только в этом — немало случаев, когда при жизни своих родителей взрослые дети не слишком интересовались их прошлой жизнью; свиде-

тельства на этот счет имеются в семейных историях. Видимо, это семейная традиция. Она управляет памятью, а память в свою очередь развивает ее. История семьи подробно представлена рассказами о свадьбах — прежних крестьянских обычаях и новых советских обрядах; о поминках — о том, что связывает разные поколения. Рассказ матери о коллективизации дополняется рассказом дочери о единоличном хозяйстве деда с бабушкой по материнской линии. Голодные годы, налоги — все это осталось в памяти — и по рассказам, и по личному опыту.

Наиболее яркая память — о предвоенном и военном детстве, в котором переплетались устои крестьянской семьи и новый, колхозный, порядок. Все очень близко по характеру воспоминаниям упомянутой выше Анны Федоровны Т. из Тверской области, ровесницы Лидии Васильевны. Разница лишь в том, что в данном случае колхозная жизнь предстает в описании не как таковая, а опосредованно, через крестьянский двор.

«Дела были распределены. У нас скотины полный двор было. Тогда ведь налоги были. Сами ели рожки да ножки, а это все на базар, потому что налоги душили. Бывало, залезешь в погреб, у мамы по 20-30 горшков там молока стоит, а отстаивалось, сымала, пахтали масло и сдавали государству. Кувшин был полтораведерный. Кольцо вбито в потолок, на рельсе, две ручки в кувшине, и вот сидишь. Вот так болтали, пока спахтаешь. У каждого дела были распределены. Я старшая, мне вот. Я купала детей. Мама мне выдаст из мешка штопать носки, полный мешок. А тогда вязали чулки, шерстяные, с шерсти из овечьей, вот до сих пор. И вот коленки штопаешь, пятки штопаешь. Вот она мне вывалит мешок. И не отговоришься. А если я замухордилась, хотца поиграть в салочки, в прядочки (эт только в праздники мама пускала), то вот так вот (за волосы) и за этот мешок. Матери боялись, как огня, избавь Бог.

А если скажет: «Отцу скажу», - тогда все. Слово его — все. Избавь Бог, мать сказала, тогда все. Но мама скрывала. Она токо посулит, попугает и все. Вот мама идет на работу, тебе прополоть 20 борозд картошки. А тогда картошки «лебедя» вот такая вот (до пояса). Вот, ее руками. Потом тяпочкой. Вечер, солнце садится, еще мне четыре борозды, я в поту вся. А не сделала — мать будет бить. Мама заставляла меня печку топить. А чугуны я не осилю. Она мне на загнетку составить, а я заложу в печку, да руками стаскаю. Таганы были. Я навози насыпаю и топлю. С загнетки еще не смету, навоз оставлю — «баня» (наказание — И.К.).

Трапезы запомнились как своим крестьянским ритуалом, так и постоянным чувством голода. Мать варила двухведерный чугунок еды: в семье было 8 детей. В русскую печку «закатывала щи, и мы их, грубо выражаясь, пожирали за обед». А в праздник мать варила мясо. Все сидели, ждали команды отчима. Если кто засмеется, получал деревянной ложкой об лоб. Ели из большой чашки, по сути таза, в какой женщины белье кладут: » А глядеть по сторонам, если подружка пришла, - то там и ловить нечего, там уж порожняя. И вот едим-едим. И вот к концу уж подходит, мясо брать. Он (отчим) по краю ложкой стукнет — знак. А мы тогда за мясом гоняем. И ели в одно время. А все бесполезно: до обеда не возьмешь, ни куска, все хлеб накрыт и замечен — все, мы уже не можем! — «баня» будет большая. Жди время. А че ж, мы не заигрывались. Часы там спрашиваешь, так ко времени бежишь, потому что если не успела, все, никакого обеда. Это строго было. Мы время знали и обеда, и ужина. Все уже собирались».

Однако какой бы ни была прошлая жизнь, родной дом и улица стали основным местом памяти, напоминающим о крестьянском: «В молодости как мне хотелось нарядиться, уехать... Я иногда выйду на улицу — вон корова моя... а вон яблоки посадил мой дед... Нет,

не уеду!» Но мыслями Лидия Васильевна все же не в доколхозной деревне, а в деревне совхозной, пожалуй, как и ее мать. В 70-е годы Лидия Васильевна уже работала в больнице, а в совхозе — муж, да и то шофером директора, то есть был на должности, позволявшей ему «кормиться»: «Он возил директора и овцу привезет». У дочери и матери свои критерии того, как устанавливалась лучшая жизнь, равно как и критерии богатства.

Мать: «У кого есть корова, а у кого и нет. А сейчас, наверное, все равны».

Дочь: «Да как же? У него — миллион, а у меня — полторы тысячи на книжке. У кого — хрусталь, а у меня — тряпки».

У матери — скорее критерии коллективного крестьянского опыта, наложенного на советскую действительность: «Когда Сталин умер, стали жить лучше. Потому что налоги были (при Сталине). Когда Сталин умер, пусть Хрущев и на 400 г хлеба посадил, а все ж жить было веселее. Он (Сталин) душил нас по-страшному. Но вот эта карточная система, она недолго была, тут его быстро... Хрущева сместили, тут жизнь пошла. Налоги сняли, хлеба досыта в магазине, поросенок стали резать себе. А я, Сталин умер, я его кляла. А за все время... В девках-то была, моих забот-то не было. А потом мне забот и работ-то сколько. Так что... а тут дети пошли, и работы сколько. Мы даже не бедствовали никогда. Но при Брежневе мы дыхнули. И мяса, не так как сейчас, тарелочка, а «чашка», таз малированный, гора! Тогда большинство своего было».

У дочери — скорее индивидуальные, пропущенные через коллективный советский опыт : «(Богато жили) после Володиной (сына) свадьбы. Мы долг отдали, сестре я платила в год сколько-то там. В больнице мне зарплаты прибавили, он (муж) ушел в совхоз. И если деньжонок у нас нет, крах, он идет и под отчет выписывает. Директор всегда подпишет на 300-400 (рублей).

Богато мы никогда не жили, но по-человечески хоть поели, поспали. А до этого — то долги, то еще. А при Сталине. Он умер, как мы плакали! Мы думали, что жизнь кончается. Брежнев — вот о ком плакать надо было. Палками колбаса... А сейчас дети вкус забыли. Гулянки какие были, организации гуляли. Выйдешь — отсель гармонь, песняка, отседа — гармонь, песняка; контора гуляет, райсоюз гуляет, райисполком гуляет, райком гуляет, да ты чего? Совхоз гуляет! А еще чегой-то его обо...ли (Брежнева)! Дедушка Ленька делал хорошо» ²⁶⁷.

Поколения, родившиеся в 50 — 60-е годы, в значительно большей степени демонстрируют отрывочность, фрагментарность памяти о прошлом. Так, Екатерина Григорьевна С. (1952 год рождения, Вологодская область) нашла этому объяснение: «Да как-то раньше, когда была моложе, и не интересовалась, а сейчас уже и мать многое стала забывать». Ей вторил ее ровесник и земляк Михаил Николаевич С. ²⁶⁸. Безусловно, существуют исключения, как, например, в случае с Николаем Семеновичем М. (1952 год рождения, Тульская область), который знает историю своей семьи, правда, не дальше деда, но зато интересуется поселениями первобытных людей в окрестностях своего села. Его очень волнует «конец крестьянства». Являясь главным агрономом лучшего в районе хозяйства, он сам несет в себе глубокую традицию радения за землю, за хозяйство, за общее дело. Он судит о прежней жизни по рассказам родителей и по своему опыту. На его взгляд, сельская общность стала терять свою суть, свое единство с середины 60-х годов. До этого и праздники разные отмечали, в том числе религиозные, и работали дружно, и помогали друг другу. Памятны ему рассказы деда, как тот в 20-е годы ездил на свои полосы ²⁶⁹.

И все же существует нечто общее, характерное для памяти советского поколения крестьян Центральной России. Здесь уже речь идет не о ретроспективном аспекте памяти, а социальном.

Даже если крестьяне не помнят подробностей и деталей жизни их предков, они сохранили как опыт представления о том, какой должна быть крестьянская семья. Поэтому самая сильная память сохранилась в отношении оценки собственного положения среди других семей крестьянского сообщества. Полны или фрагментарны семейные истории, многие хранят убеждение в необходимости сохранить положение «как наши деды и прадеды жили». Особенно это заметно в северном регионе (это и понятно, там исторически социальная стратификация была выражена слабее), в других регионах более явно стремление жить получше, побогаче: «Наша семья живет по-среднему, мы не жили ни бедно, ни богато, как и наши родители. Мы и сами считаем, что нужно жить по-среднему, но чтобы не перебиваться с хлеба на воду. Родители наши считали, что нужно жить в достатке, но не богато» (С., 1953 год рождения, Вологодская область); «Я считаю, что люди должны жить в достатке, когда не нужно думать о том, что на завтра купить хлеб или какой-либо другой продукт. А богатство — оно ни к чему, так же думает и моя мать, так она и нас воспитывала. Мой дед с бабой по материнской линии тоже не были богатыми — были середняки, видимо, так и передается из поколения в поколение» (С., 1952 год рождения, Вологодская область) ²⁷⁰.

Однако память этих поколений фиксирует изменение представлений о бедности и богатстве в деревенском сообществе. Если раньше, в доколхозной жизни, символом и показателем богатства крестьянской семьи — и это особенно запечатлелось в памяти крестьян — были земля (в одних регионах России — только своя, наделенная, в других — еще и купленная или арендованная) и лошадь, а затем, в раннеколхозной жизни — земля и корова, то постепенно земля отошла на второй план, а на первый план выдвинулись деньги и все то, что символизирует городской образ жизни — телевизор, мебель, машины, ковры. Если раньше крестьянин помнил дату

покупки лошади и цену, отданную за нее, то теперь время приобретения того или иного товара может стать важным рубежом памяти. Так, в семейных историях довольно ясно помнится, например, дата покупки телевизора.

Советские крестьяне все еще несут в себе остатки бытового православия, и обряд похорон, а также все, что связано с этой стороной народной памяти, но в отдельных случаях ненормативная лексика вполне уживается с народной религиозной культурой.

Получив в детстве или ранней юности большой опыт голодной жизни, они ценят такое «раньше», в котором было сытно.

Поскольку идеология современной аграрной реформы, начавшейся в начале 90-х годов, предполагала разрушение сложившейся за годы советской власти системы отношений, форм хозяйств, а главное, сама реформа была направлена против сформировавшегося за это время социально-психологического типа работника на земле, она сталкивается с негативным отношением к ней деревни ²⁷¹.

За многие годы коллективные хозяйства стали для нескольких поколений крестьян своеобразной традицией. Наиболее привлекательные черты колхозно-совхозного строя – социальная защищенность, гарантированный заработок, совместный труд – в условиях реорганизации начинают исчезать и вызывают критическое отношение к происходящему. Лишь в очень немногих хозяйствах люди реально чувствуют позитивное влияние преобразований. Решительное вторжение реформаторов в сферу деревенской жизни ведет к закреплению крестьянских поведенческих стереотипов, подкрепленных его исторической памятью.

Сознание современных крестьян несет в себе черты, порожденные индустриальной ориентацией аграрного сектора, находившегося в последние десятилетия под опекой государства. Хозяйства Центральной Рос-

сии в 70-80-е годы чувствовали финансовую поддержку власти (здесь не обсуждается вопрос о том, сколько при этом продолжало выкачиваться из сельского хозяйства). Создавшаяся на селе ситуация нарушает важнейшие моральные принципы деревенской жизни (отмеченные в мировом крестьяноведении как характерные для развивающихся стран, но с долей условности применимые и к России) — равенство всех крестьян и обязанности богатых по отношению к бедным соседям. У нас длительное время обязанности «богатого» по отношению к бедным играло государство, которое одновременно поддерживало известное материальное и прочее равновесие в деревне (например, дотации слабым хозяйствам, уравнивательность в оплате труда и прочее). Не только образование самостоятельных (фермерских) хозяйств, но и акционирование коллективных нарушило былое равенство. Крестьянин особенно тяжело переживает рубежные ситуации, разрыв прежних социальных связей, страхующих от риска. Появление же новых структурных элементов требует от человека переориентации его трудовых навыков.

В современных условиях у крестьянства в наибольшей степени присутствует стремление к сохранению своих позиций в жизни вместе со своим окружением, стремление к коллективной солидарности и тяготение к прошлому, которое представляется определенным по сравнению с настоящим и тем более неясным будущим. Возникает скрытая агрессия в отношении «не своих», в которые включены власть, город, переселенцы из стран ближнего зарубежья.

Происходит смещение в оценках прошлого. Избирательный характер памяти способен порождать мифологемы. В равной степени и переоцененное прошлое становится необходимым для оценки настоящего, и современность оценивается, исходя из представлений о прошлом. Мифологизация возможна и в том, и в другом случае.

Еще несколько лет назад крестьянство оценивало период коллективизации как самый тяжелый и трагичный в своей истории (это особенно ясно прослеживается по воспоминаниям старших поколений). Сложная современная ситуация выносит на передний план другие проблемы, оттеснив более далекое время. К нему скорее философское отношение: что было не вернешь, живем сейчас. Сегодняшнее тяжелое время заслоняет все. При этом оценки современности практически не меняются на протяжении 90-х годов. И в 1992-1993, и в 1997-1998 годах приходилось слышать в деревне одинаковые мнения ²⁷².

Что важно — упор делается на психологическую атмосферу «раньше» и «теперь». Пожалуй, наиболее часты сравнения с послевоенным периодом: «хуже всего крестьянам жилось после войны и сейчас; разруха еще больше ощущается психологически на фоне благополучия последних лет»; «После войны понятно, но тогда жили надеждами и понемногу все выправилось, дело шло на подъем. Сейчас трудности создали сами, политикой неправильной. Видеть, как все идет насмарку — тяжело». Кажется, что крестьяне только и живут воспоминаниями. Обобщенно: «хуже нынешнего времени никогда не было — жить тошно».

И все же именно война стала своеобразным водоразделом. Именно в послевоенные десятилетия в деревне стали произрастать злоба, зависть, корыстолюбие, воровство. Многие считают, что развал сельского хозяйства пошел с времен Хрущева, он все «повырубил и повырезал». Потом, в 70-е годы стало полегче, а сейчас опять невмоготу. Людей угнетает нестабильность, материальные трудности, усиливающееся расслоение общества (то и дело приходится слышать: «нищета рядом с роскошью»), угроза безработицы, пьянство, упадок нравственности, а главное то, что сейчас все ориентировано на выживание, а не на спокойную размеренную жизнь.

То, что в последнее время приходится надеяться только на себя, в то время как привыкли надеяться на государство, вносит определенный дискомфорт. «Сейчас каждый сам по себе» — лейтмотив многих рассуждений. «Раньше мы сдали продукцию — у нас голова не болела» — тоже достаточно типичное высказывание. Вызывает растерянность и то, что появилась возможность выбора, которой раньше не было. «Сейчас на нас столько обрушилось, что мы не знаем, что выбрать», — делилась своими проблемами работница одного из товариществ Тотемского района Вологодской области.

У крестьян сильна ностальгия по «старым, добрым временам», в которых все было определено и которые несли в себе гарантии стабильности. Таким временем в основном представляются 70-е годы, которые, как бывает в российской истории, персонифицируются: «При Брежневe еще вздохнули, воспрянули» (эти оценки приводились выше, они постепенно стали формироваться в конце 80-х годов, когда «перестройка» начала «буксовать»). Большинство считает, что при Брежневe жили как при коммунизме, но лишь сейчас поняли это, а хуже всего сейчас. Разрушения крупных коллективных предприятий боятся, как в свое время боялись коллективизации.

Иллюзия в отношении 70-х гг. очень характерна для крестьянского сознания. Говоря словами известного исследователя крестьянства Дж.Скотта, «теперь переоцененное прошлое стало необходимым для оценки пугающего настоящего»²⁷³. Фактически память помогает как бы уклониться от реальной жизни, ибо жизнь эта слишком тяжела.

Преобладают представления о бесконфликтности того времени. Даются оценки психологической атмосферы. Подчеркивается отсутствие жизненного тонуса в наши дни: «у людей плохое настроение, радость исчезла, постоянное беспокойство», «настроения нет, жизнь не радует», «раньше я с душой на работу шел», «жизнь

стала неинтересная, раньше с радостью бежишь на работу, что-то планируешь». Тогда жилось «лучше, веселее, спокойнее, хотя, может, имущества всякого было поменьше, чем сейчас, но отношения между людьми были лучше, уверенность в будущем была, а сейчас наперед ничего не скажешь – что будет». Мнение крестьянки из Орловской области «тогда всем было хорошо, а сейчас только избранным» перекликается с позицией доярки из Вологодской области: «Мы жили не хуже коммунистов, не ходили все побираться».

Осуждается «торгашеский» принцип, на котором строятся современные отношения. «Теперь на рынке можно все купить-продать, разве что нельзя птичьего молока и отца-матери» – так образно выразила суть сегодняшнего времени пенсионерка из Мценского района Орловской области.

Крестьяне к тому же ценят не только относительное материальное благополучие («при Брежневе зарплата была человеческая, и мясо лежало, и колбаса и импорт», «все стоило копейки и было доступно», «при Брежневе хоть и хапали, да нам давали»), но и факт, что с ним худо-бедно считались. В одном из хозяйств Вологодской области (передового по тем временам) вспоминали приезды в хозяйство первого секретаря обкома: «Раньше о сельском хозяйстве заботились». Поэтому историческая память крестьян Центральной России «сработала» во время президентских выборов 1996 года вполне определенно – против «демократического» кандидата.

Правда, уровень притязаний крестьян не столь и высок и зачастую не идет дальше «было бы во что детей одеть и отложить на черный день», «при социализме о куске хлеба не беспокоились». Крестьяне считают, что в эти годы между ними и властью был достигнут компромисс, который был следующим образом охарактеризован орловским крестьянином: «В 70-е годы дали свободу крестьянину, возможность работать на себя и на государство» (бригадир-животновод, 45 лет).

Если обобщить, то система ценностей, представленных в ответах крестьян центральных регионов России может быть выражена следующими категориями: «надежность, стабильность, уверенность, защищенность, законность, обеспеченность, дешевизна, патриотизм, относительная свобода, гордость за страну, духовность». Приведенные выше ответы крестьян отражают преимущественно представления людей старше 30 лет. Специального опроса среди крестьян моложе 30 лет в силу ряда причин не проводилось. Но все же явного неприятия и отторжения ценностей среднего поколения нет, хотя существует критическая оценка настроений старших поколений.

Подоплеку ностальгии главный инженер (30 лет) одного из товариществ Вологодской области трактовал следующим образом. Он отметил, что люди (преимущественно среднего возраста) с теплотой вспоминают и воспринимают старое – советское – время. Пенсионеры, только потому что регулярно получают пенсию, говорят, что им не надо старого времени. По его мнению, если бы сейчас люди получали нормальную зарплату, ни один бы не вспомнил старое время. Люди, которые вспоминают старое время, тогда были молодыми. Люди, когда молоды, всегда более дружны. Ближе к пенсии – люди раздражены, обособлены. Сам он советское время оценивает критически. Таким образом, здесь фактически два подхода к сопоставлению «раньше» – «теперь». Первый – традиционный, «естественно-исторический», обусловленный возрастом человека: индивиду представляется, что в молодости все было лучше («что пройдет, то будет мило»). Второй – конкретно-исторический, не связанный непосредственно с возрастом индивида. Причем, в воспоминаниях людей эти два подхода могут существовать отдельно, а могут и переплетаться или наслаиваться друг на друга, как в рассуждениях нашего респондента. Зоотехник (22 года)

из другого хозяйства той же области в силу своей молодости скорее склонна поддерживать реформы: «Я — за реформы, надо двигаться вперед. Голосовала за Ельцина. Некоторые доярки считают, что сейчас лучше. Лишь бы не лениться и денег заработать». Она видит, как срабатывает историческая память: «люди настороженно относятся — что еще придумают. Тем не менее я всегда гордилась, что я — советская. Мы гордились страной, был интернационализм, взаимовыручка между странами. Не нравилось особое положение партийного аппарата».

В наиболее взвешенных ответах разных поколений крестьян, особенно тех, кто привык рассчитывать на себя, нет иллюзий по поводу исторического прошлого деревни: крестьянству всегда жилось тяжело. «Взгляды любого поколения будут однозначны на селе: «пронеси леший эту жизнь, — пришлось услышать в одном из хозяйств Вологодской области. — Двадцатилетний еще ничего не понял, а кто уже семьей обзавелся, скажет — я такого не хочу. Только великое терпение нас выручает.

Хотя 70-е годы и были сравнительно благополучными, каждое время несет элементы принуждения по отношению к крестьянству, из всей своей истории крестьянство выносит прежде всего опыт выживания, и компромисс, достигнутый между ним и властью к началу 80-х годов XX века был выстрадан крестьянством, отстаивавшем свое право быть таковым. Для крестьян в оценке современного периода как раз оказывается важным то, что разрушается с таким трудом созданная сравнительно налаженная система отношений «государство-крестьянство». Крестьянство поэтому не спешит порывать с крупными коллективными хозяйствами: так, коллективом легче, чем в одиночку выходить на уровень этих отношений. Срабатывает историческая память крестьян, для которых всегда было важно иметь посредствующее звено в своих отношениях с некрестьянским миром. Крестьянский опыт санкционируется

памятью, которая вбирает в себя индивидуальный опыт коллективного выживания и коллективный опыт индивидуального выживания.

У крестьян имеет место «негативная идентичность», связанная с потерей существующего некогда, по их представлению, символического статуса в общественной иерархии. Крестьяне считают, что им в этой системе была отведена определенная роль.

Правда, оценка этой роли во многом противоречива. В разных районах России люди отмечают, что «если бы не было крестьян, не было бы и России», «крестьянство — основа общества. Поэтому и беды в обществе, что крестьяне в беде», «крестьянину надо дать самой высшее место, потому что от него зависит благополучие страны». Присутствует представление о крестьянстве как кормильце страны: «В прежние времена при царской власти крестьяне забивали бы окна и уходили»; «В городе бастуют, а крестьянин не может — он кормит»; «горожане безответственные, вот сейчас бастуют, а на селе не будут бастовать — кто будет этих забастовщиков кормить? Традиция труда и ответственности перед обществом пока живет.

Есть и другие ответы. Признается, что крестьянам принадлежит невысокое место в системе общественных отношений: «крестьяне — рабы», «крестьянин — рабочая скотинка», «колхозник ругательное слово», «крестьяне — на последнем месте в обществе, работяги», «крестьяне — забытые, затуркнутые, поставленные ни во что», «жизнь крестьян всегда была трудной, крестьян всегда держали в черном теле, обирали и обирают, лишали самостоятельности», «вокруг крестьян мошенничают покрупному, а государство попустительствует, считают крестьян быдлом, с ним можно как хочешь обходиться». Поэтому когда заходит разговор о детях и их будущем, многие респонденты отвечают: «детям решать, как жить, но так, как мы — не хотели бы».

Для многих крестьянство ассоциируется с нищетой, низким уровнем культуры, низким уровнем социального благоустройства и т.п. Крестьянин как бы всю жизнь на обочине общества: не пускают его к лучшей жизни.

Называя себя крестьянами, респонденты отмечают, что если крестьянство и сохранилось, то, конечно, оно не то, что было раньше. Мало сохранилось истинных крестьян, кто дает земле, а не берет от нее. А можно рассуждать и так: «Крестьянства пока что и не было, потому что крестьянин — это хозяин». Наиболее типичный ответ, что крестьяне — это труженики земли, «кто просто работает, без политики». Когда механизаторам одного из товариществ Тотемского района Вологодской области напомнили о политических событиях в Москве — августе 1991 и октябре 1993 года, — те прореагировали живо: «пусть стреляют, у нас уборка идет». Политикой вообще интересуются немногие. Это типично для крестьян. Но есть и еще одно объяснение: большинство разуверилось в многочисленных политических заявлениях и обещаниях. Крестьянами считают тех, кто работает на земле, ходит за скотиной, не чурается «черного труда», «кто землю любит и жить без нее не может», «кто без деревни жить не может» (респондент при этом замечает, что не представляет своей жизни без фермы, без скотины). Обобщенно, ценится главное: «Все что есть в людях хорошего — любовь к детям, к земле, к Родине — все от крестьянского нашего прошлого». Думается, что в данном случае дает себя знать неотъемлемая составляющая исторической памяти — ностальгия по «утраченному раю».

Ревность сельчан по отношению к горожанам сохраняется, причем сейчас это чувство обострено. Отличие от горожан выражалось прежде всего на эмоциональном уровне замечаниями типа: «в городе хорошо дольше спать, а в деревне лучше, когда надо рано вставать», « в деревне больше работают, меньше получа-

ют», «в городе больше свободного времени, пришел с работы, завалился на кровать и телевизор смотришь». Это сравнение идет дальше, затрагивая этические нормы: «крестьянин честнее горожанина»: землю не обманешь», «крестьянин выше по значению, чем горожанин», «крестьянин свой хлеб потом и кровью зарабатывает». От горожан их отличает чувство ответственности за землю, трудолюбие, совесть.

Однако «родиться, работать на своей земле и умереть на ней» — кредо главным образом крестьян старших поколений.

Земля перестала быть целью, а стала всего лишь средством. Если для оценки ситуации в начале XX века можно было бы употребить формулу «крестьянство без земли», то сейчас, в конце века, земле явно не хватает крестьянина-хозяина. «Ох, земля, моя земля, что тебе досталось? Кто нужнее, тот уехал — алкаши остались» — поется в современной вологодской частушке. Земля, как говорили мужики, остыла, родить не стала.

В современных условиях память крестьян о земле выступает важным аргументом как в дискуссиях по поводу частной собственности на землю, так и в реальной практике реформирования коллективных и создания фермерских хозяйств. Наученное многочисленными аграрными экспериментами и собственным горьким опытом, крестьянство понимает, что земля — единственное, что у него осталось. Некоторые видят позитивный момент современных аграрных преобразований в осуществлении акта справедливости: «мы с 1917 г. землю никак не раздадим». В то же время приходилось слышать мнения, что «испокон веков это наша земля», «всю жизнь земля принадлежит селу — что все отдавать чужим».

Вообще, идея собственной земли крестьян волнует в разной степени. Для старших поколений крестьян понятие «своя земля» наполнено, конечно, большим содержанием и смыслом. Во всяком случае, то, что у

людей некогда была «своя земля», предполагало и иное отношение к ней, нежели теперь: «После появления колхоза порядку не стало. Не твое, не мое! А раньше хорошо ухаживали за землей-то», «рабочий человек раньше был небогат, но у каждого была земля, и он был доволен» .

Как бы то ни было, «своя» земля, то есть земля личного подворья есть у всех, она так и остается своей, и колхозная история памятна во многом борьбой крестьян за эту землю. А вот отношение к другой земле — бывшей колхозно-совхозной, выделенной пока номинально, в форме земельной доли, как к «своей» — еще только в стадии формирования, к ней скорее двойственное отношение. Скепсис слышится по поводу возможностей отдельной крестьянской семьи обработать эту свою землю самостоятельно: «Своя земля — хорошо, но на ней работать нечем».

Надо сказать, что для основной части бывших колхозников и рабочих совхозов, ныне работающих на земле в разного рода обществах, товариществах, кооперативах «частная собственность» ассоциируется с двумя явлениями. Во-первых, с индивидуальным хозяйствованием на земле, в современном варианте это крестьянские фермерские хозяйства, отношение к которым в сельской среде неоднозначное. Во-вторых, с крупным частным хозяйством, где используется наемный труд. Распространено мнение, что «землю скупают богачи, народ остается ни с чем, мы все надолго станем бесплатной рабочей силой».

Приверженность определенной традиции отношения с землей чувствуется в ответах людей и старшего поколения («земля полита потом дедов-прадедов, принадлежит крестьянам и не может продаваться», «землю продаете, скоро детей продавать начнете») и среднего поколения (« за границей все с кровью матери впитали, а нас к другому приучали», «зря наши родители созда-

вали колхозы?», «земля — она не для продажи, а чтобы выращивать на ней хлеб, овощи и фрукты», «земля должна кормить, а не давать условия для спекуляции», «земля — это единственное национальное богатство России, которое еще не успели продать»). В одном из хозяйств Тотемского района Вологодской области был услышан такой ответ: «Кому нужна частная собственность — пусть будет. Мы не задумывались, наемные мы или нет — пусть платят зарплату. Но работать на фермера по найму — мы такой ситуации представить не можем». Повсеместно вызывает опасения, что продажа земельных долей приведет к развалу хозяйств. Частная собственность на землю понимается как парцелляция крупного хозяйства.

Подъем деревни, выход из кризиса связывается преимущественно не с проблемой собственности на землю, а с разнообразием хозяйственных форм, но преимущественно — различных объединений, совместных, коллективных форм, часто — по типу мелких колхозов. Отчетливо работает коллективная память: «при столыпинской реформе крестьяне и то объединялись», «в одиночку человек никогда не жил. И тогда община была и работы общие, но каждый работал на себя. На хуторах жили немногие. При колхозной жизни людям надежнее, но не хватает самостоятельности», «наши деды-прадеды жили, работали коллективно и нам завещали», «коллективное хозяйство надо держать, раньше от деда к прадеду все шло» (имеется в виду, что единоличное хозяйство, как малый коллектив, семья, был при «большой семье», общине) .

Даже в хозяйствах, идущих по пути реформирования, имеющих опыт повышения эффективности хозяйствования, земля остается «на запасном пути», а движение паев внутри хозяйств начинается с имущества, а не земли. Исключение составляют хозяйства, подвергшиеся реорганизации, разукрупнению, дроблению

Обычно в пользу сохранения крупного хозяйства приводится такой аргумент, что небольшой частью, разделив его, работать невозможно, производство уменьшится, не будет расширенного воспроизводства, хозяйство будет работать только на себя. При этом в пользу закрепления земли за коллективом приходилось слышать приблизительно такие же доводы, какие в свое время высказывались крестьянами в защиту общины. Так же как когда-то община, колхоз, в представлении крестьян, дает необходимый жизненный ресурс всем работающим в нем: «Если разделить хозяйство реально, получается парадокс, — говорил председатель одного из колхозов Тотемского района Вологодской области. — У меня семья шесть человек. Вместе с женой у нас 18 га. Если четверо моих детей останутся работать в хозяйстве, земли они не получат. А есть семьи, где мало членов, и в колхозе не работают. Что же, мы должны покупать эту землю? У меня в кармане «вошь на аркане». Получается, что вновь прибывшим хозяйство не сможет дать земли» .

Крестьяне в целом настроены пессимистично по отношению к своему будущему, будущему деревни (села), сельского хозяйства. Будущее крестьян пока не ясно, если так пойдет дело, от деревни ничего не останется, заводить семью и детей сейчас многие не решаются (заметим, это весьма сильный аргумент для крестьянина, ведь в его мировосприятии семья и дети — смысл жизни).

Присутствуют настроения типа «Какое к черту будущее! Нам бы сейчас выжить!» Оно характерно для определенного типа работника, ярого, так сказать, «семидесятника», весьма агрессивно настроенного. Если дать эскизный набросок такого социально-психологического типа, то это люди в возрасте 45-55 лет, со средним (специальном) образованием. Преимущественно мужчины — скотники, но чаще слесари-ремонтники,

шоферы, электрики, то есть занятые в сельскохозяйственном производстве опосредованно, хотя и считающие себя крестьянами. Среди женщин — скотницы, разнорабочие. Как правило, советское время оценивают с точки зрения своего материального положения и покупательской способности. Типичны рассуждения: «я на свои 90 рублей сколько мог колбасы по 2.20 купить». Поначалу, в 1992-1994 годах сравнивались и цены на водку — казалось, что и водка «при социализме» была дешевле, но в 1995-1996 годах водка попала в разряд дешевых товаров. Естественно, современной ситуацией не довольны (не получают зарплату — основной аргумент). Немного словны, без всякого желания беседует по теме интервью, ответы односложны, стандартны, очень часто типа «не знаю, не вникаю, не задумывался». К современным социально-экономическим преобразованиям относится отрицательно, считает, что от них выигрывают только коммерсанты, спекулянты. Выборы в высшие органы власти чаще всего игнорировал. Как ни странно, положительно относится к созданию фермерских хозяйств и, кажется, сам бы не прочь был создать фермерское хозяйство, если бы... Если бы позволяло «благосостояние», которого нет. Но в действительности, человека, который не любит рисковать, предпочитает небольшой, но стабильный заработок, который «если бы у него было много денег, конечно, бросил бы работу» устроит любая ситуация, если «под аукцион отдать весь совхоз фермеру — новому хозяину», «если бы был хозяин, хоть иностранец». Наконец, рассуждения подобного типа о семье: «лидер в семье жена, так как получает больше денег», причина же распада семьи в недостатке денег.

Значит ли все отмеченное, что историческая память способна порождать лишь ностальгию по временам, когда «народ не голодовал, а цены были низкие», создавая мифологемы о «золотых» временах застоя?

Безусловно, модернизируя аграрный сектор, опираться на подобные пласты памяти по меньшей мере неперспективно, хотя учитывать такого рода настроения необходимо.

Представляется, что в жизни деревни существуют явления, которые дают повод говорить об социальной памяти как духовном резерве реформ.

Несмотря на негативные последствия проводимой аграрной политики, ввергшей деревню в режим «борьбы за выживание», курс реформ, при соответствующей корректировке, имеет в сельском хозяйстве социальные резервы. Российская деревня находится в состоянии непрерывного поиска новых форм хозяйственной деятельности, выработки нового поведения, новых стратегий. При этом продолжают сохранять свое значение, постоянно воспроизводятся — пусть в ограниченных размерах — некоторые традиционные крестьянские ценности и представления. Помноженные на предприимчивость, чувство нового эти ценности могут стать культурной основой реформ.

И в то же время характерно, что опрошенные нами люди не стремятся безоговорочно в прошлое. Потому что там был дефицит, были очереди, вообще были свои проблемы. Подобно гоголевской Агафье Тихоновне, люди хотели бы соединить «спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, низкие цены» советской эпохи с разнообразием жизни, товарным многообразием современности. Не случайно для многих состояние «на распутье» — старого не вернешь, да и не всегда хочется, а новое пока еще приживается с трудом: «Возвращения старого может и не надо, но нужна стабильность», «И капитализма не хочу, и старого не хочется», она же отмечала, что люди живут по-разному, но раньше резких границ не было, сейчас заметнее. Отсюда — весьма противоречивая оценка отношений между людьми в современной деревне. Даже в относительно благополучных хозяйствах приходилось слышать, что «жизнь нас

всех делит, хотя в нашем колхозе это не так заметно», что «люди озлобились, отношения между людьми испортились, живем хуже, а друг к другу зависти стало больше». Фактически, в равной степени встречаются заявления типа: «Пьют много. Сегодня самый дешевый товар — водка. В конце 80-х пили меньше. Сейчас стали больше воровать. В деревне идет расслоение» и «расслоения большого в деревне пока не чувствуется. Люди еще помогают друг другу».

Даже те крестьяне, кто психологически живет еще в советском времени, прежде всего хотят жить, работать. Безусловно, заметное снижение действия материальных стимулов оплаты труда в современных сельскохозяйственных предприятиях (задолженности по выплата зарплаты составляют в подавляющем большинстве хозяйств несколько месяцев) меняет отношение людей и к самому труду. Мнение старшего поколения практически единодушно на этот счет: работать на селе стали хуже. Это мнение определяется не только традиционной претензией «отцов» к «детям», а является следствием положения, в которое была поставлена деревня.

И все же труд остается одной из главных ценностей (наряду с семьей и детьми), по поводу которого опрашиваемые формулируют следующим образом свое мнение: «надо заниматься своим делом», «лишь бы не лениться», «нам не до политики, нам работать надо!». Главная претензия к современным реформам — «людей пораспустили. Как это на работу не идти?» Труд — и интервью это подтверждают — является основой и современного крестьянского миропорядка

При этом если одни ждут от власти шагов навстречу («крестьяне сейчас на последнем месте, может, правительство повернется лицом», «разве будущее от нас зависит? Политика ведется против нас. Улучшить положение можно только с помощью государства»), то других иждивенчество не устраивает: «Люdiam надо дать

работать и жить, как они сами считают правильным. На первых порах нужна финансовая помощь, сейчас же идет фактически грабеж, государство не платит за то, что берет», «надо больше доверять людям, они все сумеют сделать. Продолжают управлять людьми командирским тоном, то, что думают люди, никого не интересует», «улучшения жизни можно ждать только тогда, когда люди на селе будут действительно хозяевами, а не рабами».

Примерно четвертая – третья часть всех работающих в том секторе, который составляли раньше колхозы и совхозы, отличается хозяйственной активностью. Это – «новые крестьяне». «Новые крестьяне» – это прежде всего те, кто не просто осознает себя собственником, но кто реально формирует и укрепляет собственность. Пока в Центральной России этот процесс идет медленно ²⁷⁴.

Что касается фермерства, так сказать «в чистом виде» крестьянина-собственника, то для него сейчас ситуация экономически неблагоприятная, особенно по сравнению с началом 90-х годов, когда оно было безусловным фаворитом аграрной политики. Сейчас фермеры тоже «выживают». В свое время преобладали два мотива создания фермерских хозяйств – стремление к независимости, самостоятельности, неприятие традиционных «советских» коллективных форм и продолжение семейной традиции единоличного хозяйства, разрушенного коллективизацией. Фермер К. (Орловская область), дед которого хозяйствовал на сибирской заимке, в современном фермерстве видит по сути старую, забытую форму. Для орловчанина же С., долго работавшего на заводе, решающим оказалось его крестьянское происхождение; к тому же его предки – государственные крестьяне. И вместе с тем, фермеры считают, что обладают уже иным социальным статусом. Фермер М. из Мценского района Орловской области крестьянином называет того, кто живет по старым народным обычаям, а фермер – явление нового времени. Один из фермеров Балахнинского района Нижегородской области, в 1993 г. скрупулезно перечисляя скот, бывший в

хозяйстве деда, вынужденного прибегнуть в 1929 г. к «самораскулачиванию», рассматривая свое фермерство как восстановление исторической справедливости, стремился вырваться из привычного крестьянского круга. Для него ориентиром было крупнотоварное, предпринимательское фермерство с использованием наемного труда.

Крестьяне, работающие в крупном производстве, считают фермера крестьянином, если он сам трудится на земле, все зарабатывает своими руками. Интересно, что кроме указанного критерия для крестьян значим и другой: характер отношений с государством. В представлении крестьян фермеры — не крестьяне, они «рвачи, все себе, государству ничего не дают». «Фермер — собственность большая. Крестьянин заработал и сдал государству, а фермер завтра помещик, все себе», «крестьянин любит свой труд, а фермер — свой доход» — так рассуждают орловские и нижегородские крестьяне. А председатель одного из колхозов Тотемского района Вологодской области заявил: «мы все фермеры по натуре, но без колхоза не прожить».

Каким останется в памяти конец XX века? Модернизация аграрной сферы необходима. Общество нуждается в динамичном сельском хозяйстве. Но в равной степени оно нуждается в известном самоограничении во имя сохранения природы, культуры, морали. Значит, обществу следует понять, каким образом крестьянство готово включиться в изменение своего образа жизни, иначе вновь неизбежно выпадение из памяти общества целых пластов. Социальная память, таким образом, отражает уровень достигнутого равновесия в обществе. На какие пласты социальной памяти следует опираться, модернизируя село? Вероятно, на те, где прошлое не противопоставляется настоящему и будущему, а находит естественное продолжение в них, и именно здесь открывается простор и для самих крестьян, и для исследователей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На исходе XX века естественно размышлять о его месте в памяти отдельных людей и всего общества. Опыт XX века слишком неоднозначен, а способность его творить мифы — сродни самой социальной памяти, великой искуснице «совмещать несовместимое».

Прошлое представляется в крестьянской памяти в XX веке иначе, чем в предшествующие века. Тогда прошлое активизировало крестьян на борьбу за землю и волю. В XX веке меняется направление и характер самой памяти, как меняется и само крестьянство.

XX век привнес в жизнь крестьян огромный отрицательный опыт (хотя какое столетие — по крайней мере из последних трех-четырех — в этом смысле не несло подобного опыта?). Несомненно, в XX в. крестьянство приобретало новый опыт в его и без того чрезвычайно обширном умении выживать. Более того, XX век приучал крестьян «забывать» своих предков, и они приучались в интересах собственного выживания.

Но одновременно первая четверть века продемонстрировала и рост крестьянского самосознания, и возможность новых форм крестьянской самоорганизации (кооперации, в частности). Все это стало тем позитивным опытом, на который пыталось опереться социальное реформаторство конца XX в.

На протяжении веков крестьянское общество, базирующееся на «устной истории», само творило свою историю сообразно с опытом предков. Вся система воспитания была направлена на укрепление коллективной памяти сельского социума. В таком обществе было естественно жить в представлении «как наши деды-прадеды жили, так и мы будем». Возникающая в крестьянской среде письменная традиция могла закреплять status quo, а могла и расшатывать его.

XX в. отличается большой социальной и миграционной активностью людей. Увеличивается роль книжного знания, образования. И все же в основе своей крестьянство, даже обладая известным уровнем грамотности, не стремится выразить себя на бумаге (если это только не крик души в адрес власти, например), оно все равно остается «безмолвствующим».

Одновременно усиливается индивидуальная струя памяти. Безусловность восприятия «мы так помним» становится относительным. Модернистское «я так вижу» вполне созвучно ощущению «я так помню». Это могут утверждать не только интеллектуалы: и в крестьянстве сквозь толщу коллективного проступает индивидуальный опыт, опосредованный, впрочем, все тем же коллективным опытом. В самом крестьянстве оказываются тесно переплетенными традиционная и модернизированная память.

Для XX в. характерен — и крестьянство не является здесь исключением — разрыв межпоколенных связей, хотя он не абсолютен. Опыт жизни, социальная практика предшествующих поколений, особенно старшего, не всегда оказывается убедительным и безусловным для последующих поколений (это фиксировалось, в частности, историко-этнографическими материалами 20-х и 50-х годов, отразившими особенности демографической ситуации в деревне). Поэтому в значительной степени утерянным в XX в. оказался такой чрезвычайно важный регистр крестьянской памяти как ритуал, особенно в сфере сельскохозяйственных работ, некогда выступавший способом воспроизводства крестьянского образа жизни во всей его полноте. Сохраняют свое значение свадебный и похоронный обряды как способ поддержания связи разных поколений, но собственно крестьянское их содержание выражено менее ярко.

Одновременно формируются новые способы организации памяти, усиливается влияние официальной памяти. Появление сначала массового читателя газет,

потом — слушателя радио, затем — кино- и телезрителя, словом — массовой культуры, неимоверно расширяют возможности манипулирования коллективной памятью.

Память официальная и память неофициальная существовала во все времена. В принципе устная традиция народной культуры позволяла ей быть в какой-то степени независимой от официальной памяти, хотя царская власть, например, делала немало для того, чтобы влияние официальной памяти на народ усиливалось. К тому власти не жаловала народную память, сохранявшую свидетельства о своих народных защитниках. Правда, в народе присутствовал пиитет перед верховной властью и ее наиболее выдающимися представителями, что нашло отражение в фольклоре.

После революции новая власть сначала ощутила потребность в памяти крестьян (об этом свидетельствуют, в частности фонды «Крестьянской газеты», которая была удобным каналом сбора писем-воспоминаний и последующей их выборочной публикации). Власть заручалась поддержкой рядовых участников или свидетелей революционных событий, с их помощью и при их непосредственном участии писала свою, официальную версию. Затем власть все решительнее вторгалась в память стихийную — коллективную и индивидуальную, стремясь подмять ее под себя. И хотя советское крестьянство по-прежнему сохраняло в памяти уважение к власти, в XX в. стала заметной и явственной другая линия, наложившая отпечаток на его память. Высшая власть удостаивалась и уничижительного, и панибратского отношения («Николай-дурочок», «Никита», «Ленька»).

Изменения в деревне способны вызвать к жизни всевозможные мифологемы, порожденные социальной памятью крестьянства. Особенно это касается событий недавнего прошлого. Эта избирательность определяется многими факторами, среди которых наиболее значимы такие, как изменение самого типа крестьянства и изменение его положения в обществе, хотя эти два явления очень тесно связаны.

Тема памяти по сути позволяет соединить конкретное, событийное и универсальное в истории крестьянства. Повторим, что память — всегда настоящее. Поэтому прежде всего помнится и вспоминается то, что созвучно сегодняшнему состоянию. Менялось крестьянство — менялась его память. Память — маркер изменений в крестьянстве. Однако при этом сохранялись некоторые константы этой памяти.

Каким видится XX век крестьянам?

Если говорить о памяти людей, представленной многочисленными устными и письменными свидетельствами, воспоминаниями, дневниками, эта память в нынешнем столетии редко опускается глубже самого XX века (в отдельных случаях — глубже XIX века). Уже в нем самом крестьяне черпают основную информацию, он является основным ресурсом их памяти. При этом у большинства (современное крестьянство, за исключением специалистов и молодых поколений, здесь не исключение) отсутствуют понятия века, представления о масштабности истории страны.

У крестьянства в XX в. — собственное историческое время. На всем протяжении века сохраняется форма измерения времени в соответствии с народным календарем. Безусловно, крестьянство оперирует и конкретными датами, хотя чаще всего это даты значимы для небольшого круга людей — конкретной крестьянской семьи. Это время соприкасается с временем «большого» общества, как правило, только в тех случаях, когда «большое» общества активно вмешивается в жизнь деревенского сообщества. Но и в этом случае крестьянство склонно расставлять вехи времени сообразно с собственными представлениями. В крестьянской истории XX века существуют такие рубежи памяти, как «до революции — после революции», «до колхозов — колхозная жизнь», «до войны — после войны», «до укрупнения — после», «до рынка — сейчас». Структура «все-

ленной имен» крестьянства такова, что личные имена руководителей партии и государства становятся символами крестьянского благополучия или, напротив, крестьянских бед.

Каждое новое поколение крестьян привносит в коллективную память свой опыт XX века, но этот опыт оказывается созвучным крестьянскому мировидению в целом.

XX в. начинается мощным аграрным движением, и крестьянам особенно памятливы события 1905-1906 гг. как первый опыт наступления на помещичьи усадьбы и экономики. Этот опыт займет прочное место в крестьянской памяти и воплотится вновь в действие в 1917-1918 гг. Память об аграрной революции первых двух десятилетий века сохраняется не только пока живы ее непосредственные участники и свидетели, но пока существует потребность в ее опыте. И в начале 60-х годов крестьяне Воронежской области помнили два основных момента своего выступления в 1905 г. — момент собственной отваги и собственного унижения: разгром экономики обществом и наказания, которым подверглись участники. Память о событиях 1917-1918 гг. — память о торжестве справедливости в крестьянской интерпретации. И в том, и в другом случае — это память о былой крестьянской общности и солидарности (дававшей, правда, и тогда трещину).

Такой временной рубеж, как Октябрь 1917 г., активно пропагандируемый «большой» — письменной и устной — традицией на протяжении нескольких десятилетий, присутствовал в памяти тех поколений, на долю которых она пришлась (и то весьма условно — для крестьян это была вообще «революция»), постепенно оказался изжитым и был заменен другим рубежом — коллективизацией. В XX веке крестьянская память сохранила в качестве переломных этапов жизни деревни три — создание колхозов; наступление на личные подсобные хозяйства в 40-50-е годы, укрупнение колхозов; деколлективизацию начала 90-х годов. Причем понятие «пе-

реломный» идентично понятию «разрушительный»: разрушалось и само крестьянское индивидуальное хозяйство (или его подобие — крестьянский колхозный двор), и крестьянская общность.

Крестьянское представление о XX в. становится зачастую простым сравнением по принципу «раньше-теперь». «Раньше» — это в целом великая мифологема человеческой памяти, и крестьянство здесь не исключение.

Оппозиция «раньше-теперь» неоднократно возникает в памяти крестьян на протяжении века. Прошлое противопоставляется современности и выражает представления об изменившейся жизни и системе ценностей. Поэтому оценка «раньше», так же, как и «теперь» имеет и позитивный, и негативный смысл, в зависимости от критериев, по которым оно оценивается. Так, «раньше», до первой мировой войны, представляется тотемскому крестьянину А.А.Замараеву, ведущему дневник на протяжении 1906-1922 гг., временем благополучия и довольства на фоне ухудшающегося продовольственного и в целом бытийного положения северной деревни. Напротив, для миллионов безземельных и малоземельных крестьян, вынужденных «раньше» работать по найму в экономиях, «теперь», в первые послереволюционные годы, носит позитивный оттенок, ассоциируется с полученной землей. Действия же продотрядов вызывают негативную оценку «теперь». Точно также и в 20-е годы, и позже сохраняется двойственность оценок. Для одних нэповская деревня — это «культурно-просветительный рай», для других — невероятно выросшие по сравнению с довоенным временем цены и налоги, душашее крестьянина «теперь». Для одних колхозное строительство озабочено пафосом созидания новой жизни, а все, что было «раньше» (в доколхозной деревне, в дореволюционной деревне, вообще в старое время, включающее время крепостного права — границы «раньше» расширяются) — темно и убого. Для других «теперь» — это «второе кре-

постное право», а «раньше» — доколхозное единоличесство. «Раньше» — синоним крестьянской жизни со всеми ее атрибутами: прочностью, устойчивостью, порядком, системой иерархии. По мере приближения к сегодняшнему дню границы «раньше» постепенно расширяются: в его орбиту включается и колхозное прошлое (примерно до начала 60-х годов), потому что и тогда еще сохранялись крестьянские ценности и нормы. Наконец, современность, оцененная крестьянами военного и послевоенных поколений, завершает движение маятника памяти и останавливает его в точке недавнего «застойного» прошлого как символа благополучного «раньше».

Память крестьянства — конкретна и практична, она демонстрирует свой универсальный характер, включая в себя устойчивые компоненты, такие как земля, хозяйство, семья, сельская общность, отношения с властью.

Земля всегда представляется не только материальным основанием, фундаментом крестьянской жизни, но человеческой жизни вообще, она непосредственно включена в любой ритуал. Поэтому раньше молодая крестьянская семья после венчания всегда кланялась земле три раза, умершего принято «придавать земле», а «умереть» означает «уйти домой», то есть в землю. Эта память земли, безусловно, присутствует в крестьянской культуре и отголоском отдается в современной городской.

Отношение к земле — один из основных критериев, по которому крестьяне в XX в. проводят сравнение по шкале «раньше-теперь». В памяти сохраняются приметы и черты хозяйствования на земле, свойственные единоличному крестьянству. Особенно насыщена в этом смысле память поколений, родившихся в первой четверти XX в. Памятно то, как ухаживали за землей, как ее обрабатывали, просто — любили, «берегли — это ужас как!», как с самого раннего детства приучали работать на ней. Надо отметить, что «раньше» в крестьянской памяти ассоциируется прежде всего со своим, собствен-

ным трудом, а потом уже со своей землей. Если в общем — свободным трудом на своей земле. Память о земле и воле трансформировалась в память об утраченном крестьянском хозяйстве. И если раньше, в доколхозной жизни, символом и показателем богатства крестьянской семьи — и это особенно запечатлелось в памяти крестьян — были земля (в одних регионах России — только своя, наделная, в других — еще и купленная или арендованная) и лошадь, а затем, в раннеколхозной жизни — земля и корова, то постепенно земля отошла на второй план, а на первый план выдвинулись деньги и все то, что символизирует городской образ жизни — мебель, машины, ковры. Земля перестала быть целью, а стала всего лишь средством.

На основе памяти формируются модели поведения в настоящем. Естественно, у каждого поколения — свой собственный опыт, свое видение и понимание перспектив деревни (понятно, что в традиционном обществе опыт старшего поколения был более универсален). Но есть и нечто общее, свойственное всем поколениям сельских жителей. «Прочтение» собственного опыта происходит у крестьян на фоне осознания своего положения в обществе, через отношение к земле и природе, отношение как внутри крестьянского мира (общества), так и с некрестьянским миром, в том числе и с властью. Таким образом, создается крестьянская традиция социальной памяти: на первом месте стоят интересы собственного крестьянского хозяйства, а затем выстраивается вся система иерархии.

И все же в главном крестьянская память в XX веке изменилась. Если в начале века ее стержнем было знаменитое величественное — «Земли! Земли!», то в конце века — весьма будничное и прозаическое — «Власть сменилась, разрешила бы другого поросеночка завести». Трансформация памяти — трансформация представлений о собственном месте — трансформация социальных притязаний.

Независимо от того, к началу, середине или концу века относятся свидетельства памяти, крестьянский XX век — это дедовское, отцовское или свое хозяйство. За небольшим исключением, крестьяне помнят количество земли, приходящейся на душу, размеры семейных наделов, посевные площади и урожайность разных культур. Необычайно прочна память о лошади — с ней во многом связано благосостояние семьи. Помнятся даты рождения или покупки лошади, покупные и продажные цены. «Как сегодня это помню» — с этим признанием колхозника, сделанным тридцать лет спустя после вынужденной продажи лошади мог согласиться каждый крестьянин. Цены на сельскохозяйственную и фабричную продукцию; расценки за те или иные виды работ; размеры уплачиваемых податей и налогов; количество сваренного пива и заготавливаемого на свадьбы спиртного и съестного — все это держит цепкая крестьянская память.

«Память тела» в XX в. чрезвычайно сильна — это память о физических наказаниях и ранениях, одежде и еде. Темы еды и голода — одна из самых устойчивых. XX в. давал очень много, фигурально выражаясь, «пищи» для того, чтобы память на голодные и неголодные годы, на еду вообще была цепкой. Отсюда — закрепление соответствующих поведенческих стереотипов, память на все, что относится к науке «выживать». Достаточно хотя бы привести несколько разновременных свидетельств: «Был Николай хоть дурачок, да фунтовая булка была пятачок; а когда стал Совет, то ни черта нет», «Пришел Маленков — поели блинков», «При Брежнев народ не голодовал, а цены низкие были». Здесь критерии оценки разных времен «самые крестьянские»: «сытно — голодно».

Поэтому так сильна память о стремлении крестьянской семьи выбиться из нужды, подняться, удержаться на определенном уровне (чаще — среднем). Ловишь себя на том, что в определенном смысле крестьянская память становится «вневременной»: отдельные крестьян-

ские свидетельства могут быть «изъяты» из «своего времени и пространства» и «перенесены» в другое в пределах все того же XX века.

Память крестьян в XX в. весьма прозаична и буднична, даже когда речь идет о событиях, перевернувших крестьянскую жизнь — борьбе за землю в годы аграрной революции и особенно коллективизации и войне. Это не значит, что нет места героическому или эпическому в сознании (память о войне — предмет особого разговора), но «бытовая», повседневная тема преобладает в памяти, в том числе и в памяти о войне. Это память крестьянства, с удивительным постоянством оказывающегося на грани выживания.

Поэтому если в начале XX века, борясь за землю и волю и опираясь при этом на историческую память, отыскивая в прошлом основной аргумент его настоящего, крестьянство устремлялось в будущее, то в конце XX века для значительной части крестьянства Центральной России надежды — не будущее, а прошлое, причем относительно недавнее — сравнительно сытное и спокойное, придававшее уверенность повседневному существованию.

Мы проследили действие механизма социальной памяти на уровне событийной ретроспекции — «истории глазами крестьян». Крестьянам не свойственны самоуглубление, самопознание, рефлексия. Они просто повествуют о своей жизни, им с самого начала ясно, для чего и во имя чего они родились и живут, им понятна логика своих поступков. Им нет необходимости рассуждать о знаковых событиях своей жизни, это удел интеллектуалов.

Но это не мешает проследить действие механизма памяти на уровне универсальном — самосознания крестьян, видящих в собственном прошлом ключ к сегодняшнему дню. Мы не можем не сознавать, что любые воспоминания — лишь часть, хотя весьма насыщенная

и представительная, загадочной крестьянской памяти. У этой памяти гораздо больше ракурсов и планов, чем нам представляется и тем более, чем удалось уловить. Она мозаична и подчас соткана из противоречий. Многое осталось еще нераскрытым, а возможно — непонятым. Крестьянская память подобна сказочному камню: тот, кто стремится ее познать, ходит вокруг нее кругами и не может окончательно подойти. Чем ближе подходишь, тем решительнее память склонна утаивать свои глубины. В этой памяти много мест, которые крестьянство — по привычке, по традиции, по памяти — держит в секрете.

Примечания

- ¹ Le Goff J. *Geschichte und Gedachtnus / Aus dem Franz*, von Hartfelder. Frankfurt a M.- N.-Y.- P., 1992. P.81. В «Философском словаре» (М.,1987. С.357) дано следующее определение: «Социальная память представляет собой систему хранения, переработки и передачи социально-значимой информации, необходимой для функционирования общества».
- ³ Блок М. *Апология истории или ремесло историка*. М.,1993. С.73.
- ⁴ См.: Роговин М.С. *Философские проблемы теории памяти*. М.,1966.
- ⁵ Московичи С. *Век толп. Исторический трактат по психологии масс*. Пер. с фр. М.,1996. С. 46-48.
- ⁶ Лебон Г. *Психология толп // В кн.: Психология толп*. М.,1998. С.137.
- ⁷ Foucault M. *Discipline and Punish: The birth of prison*. N.Y., 1979.
- ⁸ Ницше Ф. *К генеалогии морали // Ницше Ф. Избранные произведения*. М.,1993. С.413-418.
- ⁹ Бергсон А. *Материя и память. Исследование об отношении тела к духу*. Пер. с фр. СПб., 1911. С.65, 107, 238, 240, 258.
- ¹⁰ Там же. С. 160.
- ¹¹ Бергсон А. *Указ. соч.* С.162.
- ¹² Юнг К.Г. *Проблемы души нашего времени: Пер. с нем. / Предисловие А.В.Брушлинского*. М.,1994. С.294.
- ¹³ Там же. С.311.
- ¹⁴ Halbwachs M. *Les cadres sociaux de la memoire*. P., 1925; *Idem. La memoire collective*. P., 1950 ; *The Collective Memory*. N.-Y., 1980. См. также: Роговин М.С. *Философские проблемы теории памяти*. С.155-156.
- ¹⁵ Janet P. *L'evolution de la memoire et de la notion du temps*. P.,1928. См. также: Роговин М.С. *Указ. соч.* С.156-162.
- ¹⁶ Confino A. *The nation as a local metaphor: Wurttemberg, imperial Germany, and national memory, 1871-1918*. Chapel Hill: University of North Carolina Press. 1997. P. 8.
- ¹⁷ Московичи С. *Век толп*. С.357.
- ¹⁸ См. работы последних лет российских и западных исследователей: Гефтер М.Л. *Из тех и этих лет*. М., 1991; Илизаров Б. С. *Роль ретроспективной социальной информации в формировании общественного сознания (в свете представлений о социальной памяти) // Вопросы философии*. 1985. №8; Колеватов В. А.

- Социальная память и познание. М., 1984; Ребане Я. К. Информация и социальная память: к проблеме социальной детерминации познания // Вопросы философии. 1982. №8. Heins F. Uber Geschichtsbilder in Erinnerungserzahlungen // Ztschr. Fur Volkskunde. Stuttgart, 1993. Jg. 89, halbjahresbd 1. S. 63-77; Kearney R. Remembering the past: The zuestion of narrative memory// Philosophy and social criticism . Chestnut Hill (Ma.), 1998. Vol. 24. N2/3. P. 49-60; Ketchum R. Memory as History // American Heritage. 1991. V. 42. N 7. P. 142-148
- 19 K'Meyer Tracy E. What Koinonia Was All About. The Role of Memory in the Changing Community // The Oral History Review. 1997. Vol. 24. N 1. Pp. 1-22; Schleifman N. The Uses of Memory: The Russian Province in Search of Its Past // Russia at a Crossroads. History, Memory and Political Practice. Ed. By Nurit Schleifman. Frank Cass. L.; Portland, Or. 1998. P.7-32; Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. Oxford, 1988. В России конкретные исследования памяти начались на рубеже 80-90-х гг.: Губогло М. Н. Энергия памяти. О роли творческой интеллигенции в восстановлении исторической памяти. М., 1992; Захаров А., Козлова Н. Письма из недалекого прошлого // Свободная мысль. 1993. №7 и др.
- 20 См. об этом: Выготский Л.С. и А.Р.Лурия. Этюды по истории поведения. М.,1930; Леонтьев А.В. Развитие памяти. М.,1931 и др.
- 21 См.: Илизаров Б.С. Указ. соч.; Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М.,1969. С.203-213.
- 22 Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and Memory in African-American Culture. Ed. by G.Fabre and R.O'Meally. New York, Oxford. Oxford univ.press, 1994. P.289.
- 23 См.об этом: Брушлинский А.В. Предисловие // Московичи С. Век толп. С.7-12.
- 24 Le Goff J. Op.cit. P.88-89.
- 25 См.: Гузенкова Т.С.Ностальгия по ненаписанной истории // Свободная мысль. 1997. № 3; Историческая память обновляющегося общества // Коммунист. 1990. № 18; Тишков В. А. Мобилизованное прошлое как фактор конфликта // Свободная мысль. 1995. № 1; Ферретти М. Сталин умер вчера: авторитаризм в политической культуре современного русского либерализма // Куда идет Россия? М., 1995; Цимбаев Н. И. Слагаемые русской нации // Родина. 1994. №10; Ципко А. С. Реставрация или полная и окончательная советизация? // Российская империя, СССР, Российская федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории XX века. Отв. ред. Бордюгов Г. А. М.,1995. и др.

- ²⁶ Nora P. *Between Memory and History: Les Lieux de Memoire*. P.284.
- ²⁷ Споры о главном. Дискуссия по поводу школы «Анналов». М., 1993; Русская история: проблемы менталитета. Тезисы докладов научной конференции. М., 1994; Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995; Le Goff J. *Geschichte und Gedachtnus / Aus dem Franz, von Hartfelder*. Frankfurt a M.- N.-Y.- P., 1992.
- ²⁸ См.: Илизаров Б.С. Указ. соч.; Лихачев Д.С. Раздумья. М.,1991; Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.,1994; Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука: Логико-методологический анализ. М.,1983 и др.
- ²⁹ *Making Histories. Studies in history-writing and politics*. Ed. by R.Johnson and others. Hutchinson. The Centre for Contemporary Cultural Studies University of Birmingham, 1982. P. 207, 243.
- ³⁰ Нора П. Память, история // В кн.: 50/50. Опыт словаря нового политического мышления. М.,1989. С. 441.
- ³¹ *Communication*. 1989. Vol. 11. P.87.
- ³² Nerone J. *Professional History and Social Memory // Communication*. 1989. Vol. 11. P.92.
- ³³ Confino A. *The nation as a local metaphor*. P. 11.
- ³⁴ *Communication*. 1989. Vol.11. P. 87.
- ³⁵ См. об этом также: Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палеопсихологии). М.,1974.
- ³⁶ Confino A. *Op.cit*. P.12.
- ³⁷ Confino A. *Op.cit*. P. 12; Nerone J. *Op.cit*. P. 96-103; Schudson M. *The Present in the Past versus the Past in the Present. // Communication*. 1989. Vol. 11. P.105-112.
- ³⁸ Nora P. *Op. cit*. P.285-286. См. также: Вопросы философии. 1988. № 3. С.77.
- ³⁹ Nerone J. *Professional History and Social Memory // Communication*. 1989. Vol. 11. P.103.
- ⁴⁰ *History and Memory in African-American Culture*. Ed. by G.Fabre and R.O'Meally. New York, Oxford. Oxford univ.press, 1994. P.7-8.
- ⁴¹ Confino A. *Op.cit*. P.12; *The Invention of Tradition*. Ed. by Hobsbaum E., and Terence R. Cambridge: Cambridge University Press. 1983.
- ⁴² Nora P.*Op. cit*. P.289.
- ⁴³ См. подробнее : *Making Histories. Studies in history-writing and politics*. P. 205-252.
- ⁴⁴ См.: *The Invention of Tradition*. Ed. by Hobsbaum E., and Terence R.
- ⁴⁵ Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М.,1990. С.3-4.
- ⁴⁶ *Making Histories. Studies in history-writing and politics*. P. 207.

- 47 Nerone J. *Op.cit.* P.90-91.
- 48 Becker C. L. *Everyman His Own Historian: Essays on History and Politics.* Chicago: Quadrangle, 1931. P.233-255. См. также: Nerone J. *Op.cit.* P.97-99.
- 49 *Making Histories...* P. 221-226.
- 50 См.: Бурдые П. *Начала.* Пер. с франц. М.,1994. С.195-198.
- 51 Глаголы «remember» и «recollect», как и их русские эквиваленты «помнить» и «вспоминать» различаются по смыслу, что является предметом обсуждения в западной литературе.
- 52 Gillis John R. *Memory and Identity: The History of Relationship // Commemorations: The Politics of National Identity.* Ed. by John R Gillis. Princeton, 1994. P.3.
- 53 См.: Камиллери К. *Идентичность и управление культурными несоответствиями: попытки типологии // Вопросы социологии.* 1993. № 1—2. С. 103—116; *Социальная идентичность и изменение ценностного сознания в кризисном обществе.* Под ред. Н. А. Шматко. М., 1992; *Социальная идентификация личности.* Под ред. В. А. Ядова. Ч. 1—2. М., 1994; Bell M. *The Fruit of Difference: The Rural-Urban Continuum as a System of Identity // Rural Sociology.* 1992. V. 57. № 1; Giddens A. *Modernity and Self-Identity.* Stranford, 1991; *Russia at a Crossroads. History, Memory and Political Practice ;*Wurgaft L. *Identity in World History. A Post-Modern Perspective // History and Theory. Studies in the Philosophy of History.* 1995. V. 34 № 2, P. 67-85.
- 54 Кабанов В.В. *Крестьянская община и кооперация России XX века.* М.,1997. С.109; Шанин Т. *Революция как момент истины. 1905-1907 — 1917-1922.* Пер. с англ. М.,1997. С.299.
- 55 Гордон А.В. *Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность.* М.,1989; Козлова Н.Н. *Социально-историческая антропология.* М.,1999. С. 45-58; Симуш П.И. *Мир таинственный... Размышления о крестьянстве.* М., 1991; Шанин Т. *Понятие крестьянства // Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире.* Хрестоматия. Сост. Т.Шанин. М.,1992. С. 8-20.
- 56 См. подробнее. Гордон А.В. *Хозяйствование на земле — основа крестьянского мировосприятия // В кн.: Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.).* М.,1996. С. 57-74.
- 57 См.: Scott J.C. *Moral economy of the Peasant.* New Haven; L., 1976. См. также: *Отечественная история.* 1992. № 5.
- 58 Гордон А.В. *Крестьянство Востока.* С.56-57.
- 59 Бергсон А. *Материя и память.* С.190-191, 161.
- 60 Там же. С.162.
- 61 Гордон А.В. *Крестьянство Востока.* С.37-38, 70-72.

- ⁶² Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Пер с фр. / Общ. Ред. Ю.Л.Бессмертного. Послесловие А.Я.Гуревича. М.,1992. С.302..
- ⁶³ См.: Гордон А.В. Указ. соч. С. 71-75.
- ⁶⁴ См.: Там же. С. 78-79, 95-99.
- ⁶⁵ Oral History Rewiew, 1995. V. 22. №1. P. 1-2.
- ⁶⁶ Судьбы людей: Россия XX век. Биографии семей как объект социологического исследования. М.,1996; Charrabarty D. Remembered Villages //Economic and Political Weekly. Bombay. 1996. Vol.31. N 32. Pp.2143-2151; Portelly A. The Death of Luigi Frastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History. Albany, 1991; Rafael S. and Thompson P., eds. The Myths We Live By. N.-Y., 1990; Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. Oxford, 1988; Tonkin El. Narrating Our Pasts: The Social Constructor of Oral History. N.-Y., 1992; Yow V. Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists. California, 1994.
- ⁶⁷ См.: Земельный вопрос. Под ред. Е.С.Строева. М.,1999. С.202-208.
- ⁶⁸ Кузнецов С.В. Традиции русского земледелия: практика и религиозно-нравственные воззрения. М., 1995; ^проп В.Я.Русские аграрные праздники. СПб.,1995; См. также: Тульцева Л.А. Социально-нравственные аспекты земледельческой обрядности // В кн.: Русские народные традиции и современность. М., 1995. С. 283-298.
- ⁶⁹ См.: Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. Данилова Л.В. Природное и социальное в крестьянском хозяйстве // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1997. М., 1997. С.34-39; Пайпс Р. Русская революция. Ч.1. М.,1994. С.130-134; Шанин Т. Революция как момент истины. 1905-1907—1917-1922. М., 1997.С. 155, 225.
- ⁷⁰ См.: Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.,1998. С. 418-430.
- ⁷¹ Миненко Н. А. История культуры русского крестьянства Сибири в период феодализма. Учебное пособие. Новосибирск, 1986. М.26.
- ⁷² Буганов А. В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. М., 1992. С.31.
- ⁷³ Там же. С.58-63.
- ⁷⁴ Буганов А.В. Указ. соч. С.198-204.; Миненко Н. А. Культура русских крестьян Зауралья. XVIII — 1-я половина XIX в. М., 1991.
- ⁷⁵ Соколова В.К. Русские исторические предания. М.,1970. С.113.
- ⁷⁶ Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922. С.42.
- ⁷⁷ См.: Крюкова С.С. Российский сельский мир в проекции и перспективе // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: Сб.статей. М.,1997. С.384-387.

- 78 Федорченко С. Народ на войне. М.,1990. С. 82, 125, 277, 361 и др.
- 79 См.: Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказания российского крестьянства, 1905-1907 гг.: По материалам центральных губерний. Ч. 1. М., 1994. С.134. Ч.2. М.,1994. С.250-251.
- 80 См. подробнее: Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.). М.,1996. С. 63-68, 98-101.
- 81 Крестьяне о советской власти. Сост.: Я.Селих и И.Гринеvский. Предисловие М.Горького. М.; Л, 1929. С.38.
- 82 См. Федоров В.А. Идея «черного передела» в крестьянском движении в России на рубеже 79-80 гг. XIX в. // Вестник Моск. Ун-та. Сер.8. История. 1982. N 6. С. 21-22.
- 83 См.: Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказания российского крестьянства... Ч. 1. С. 112, 114, 124, 130, 134 и др.
- 84 Короленко В.Г.Земли!Земли! // Новый мир. 1990. № 1. С.190.
- 85 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф.464. Оп.1.Д.1. Лл. 75 об, 83 об.
- 86 Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. Спб.,1994. С.273.
- 87 Качоровский К.Р. Русская община. М.,1906.С.24.
- 88 Чернышев И.В. Община после 9 ноября 1906 г. (по анкете Вольного экономического общества). Ч.1. Пг., 1917. С.23,78,81,82.
- 89 Чернышев И.В. Там же. С. 22, 49, 166-167.
- 90 См.: Чернышев И.В. Крестьяне об общине... С.8-9, 21 и др.
- 91 Кабанов В.В. Крестьянская община и кооперация России XX века. М.,1997; М.Левин. Деревенское бытие: нравы, верования, обычаи // Крестьяноведение. Теория. История. Современность. Ежегодник. 1997. С. 84-92; Модернизация в России и конфликт ценностей. М.,1994. С. 118-129.
- 92 См.: Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг. / Отв. ред. А.К.Соколов. М., 1997. С. 73-83.
- 93 Крестьянская газета. 1927. 1 февраля.
- 94 Революция права. 1928. N 4. С.67-85.
- 95 См.: Феноменов М.Я. Кстати, это нашло отражение в художественной прозе тех лет, например, в рассказах П.Романова («Мост» и др.). В свое время об этом писал А.Н.Энгельгардт.
- 96 См.: Деревня на новых путях. Кострома, 1925. С.11-12, 28-29.
- 97 Обновленная деревня. Под ред. В.Г.Тана-Богораза. Л.,1925. С.57.
- 98 См. подробнее: Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, хозяйство. М.,1977.
- 99 См.: Яхшиян О.Ю. Собственность в менталитете русских крестьян // Менталитет и аграрное развитие России... С. 92-105.
- 100 Революция права. 1928. N 4. С. 67-68.

- ¹⁰¹ РГАЭ. Ф.396. Оп.5. Д.210. Лл.30-31 об., 69.
- ¹⁰² Там же. Л.69.
- ¹⁰³ History and Memory in African-American Culture. Ed. by G.Fabre and R.O'Meally. New York, Oxford. Oxford univ.press, 1994. P.52.
- ¹⁰⁴ РГАСПИ. Ф. 17. Оп.84. Д. 857. Лл. 50-52, 224-227; Оп.85. Д.19. Л.140 и др. РГАЭ. Ф.396. Оп.5. Д.210. Лл.5,18.
- ¹⁰⁵ Голос народа. С.137, 245 и др.; РГАСПИ. Ф.17. Оп.84. Д. 825. Лл. 2-11, 37-41, 99-101; Д.858. Лл. 59-65 ; РГАЭ. Ф.396. Оп. 2. Д.23. Лл. 386-387. Оп.5.Лл. 518, 705.
- ¹⁰⁶ Голос народа. С. 97, 98, 124-129, 136, 242 и др.; РГАСПИ. Ф.17. Оп. 84. Д.857. Л. 224-227; Д. 858. Л.32 ; Оп.85. Д.19. Лл. 224-226. и др.
- ¹⁰⁷ Голос народа. С.115-116; Литвак К.Б. Указ. соч. С.199-201; РГАСПИ. Ф.17. Оп. 85. Д.19. Л.264.
- ¹⁰⁸ Ларин О. «Не плачьте, глазки голубые...»// Новый мир. 1993. N.7. С.186-187.
- ¹⁰⁹ Московичи С. Век толп. С.359.
- ¹¹⁰ В.Виноградский. Российский крестьянский двор. Эволюция повседневного существования // Волга. 1995.N 4. С. 157-158.
- ¹¹¹ См. об этом: Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М.,1999. С.99-132.
- ¹¹² Зомбарт В. Пролетариат. СПб.,1907. С.10-11.
- ¹¹³ Nerone J. Op.cit. P.87.
- ¹¹⁴ Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and Memory in African-American Culture P.291.
- ¹¹⁵ РГАЭ. Ф.396. Оп.9. Д.1. Л.59. Д. 109. Л.217; Д.128. Л.113.
- ¹¹⁶ Там же. Д.1.Лл. 45, 65, 260 об., 301. Д.20. Лл.39. Д.44. Л.418; Д. 109. Лл. 16, 18, 21-22, 55, 63,160, 215; Д.121. Лл. 99, 158, 230; Д.128. Лл. 55-59, 120, 268.
- ¹¹⁷ См. подробнее: Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. С. 92-110. Она же. Горизонты повседневности советской эпохи. Голоса из хора. М.,1996.
- ¹¹⁸ Там же. Д.1. Л. 510; Д.8. Л.81;Д.44. Лл.149-150; Д. 128. Л.120.
- ¹¹⁹ См.: Communication. 1989. Vol. 11. P.125.
- ¹²⁰ Бурдые П. Начала. С.192-194, 199-200.
- ¹²¹ Там же. С.199.
- ¹²² Социальная идентификация личности. Под ред. В.А.Ядова. Ч.2. М.,1994. С.272.
- ¹²³ Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. С.109.
- ¹²⁴ Там же. Д.27. Л.87, Д. 44. Л. 211, Д.59. Л.266; Д.109. Лл. 18, 22, 55, 215; Д.121. Лл. 99, 158; Д. 128. Лл.56-59, 120.
- ¹²⁵ Там же. Д.1.Лл.74-77; Д. 27. Л.191 об.; Д. 59. Л. 182-183.

- 126 Рачинский С.А. Сельская школа. М.,1991. С. 29.
- 127 Столяров И. Записки русского крестьянина. Париж, 1986.
- 128 Там же. С.50-55.
- 129 Там же. С. 67-69, 97-98, 102-103.
- 130 Там же. Д.59. Лл. 129-132, 150; Д.109. Л.197.
- 131 Там же. Д.1. Лл.40, 61 101-102 об., 106-107, 678-679; Д.8. Лл. 113, 261, 275. Д.20. Лл.104-105, 159. Д.27. Лл. 185 об., 207-211. Д.37. Лл. 102-104 об., 310-314 об. Д. 44. Лл. 92-93 об., 142-143 Д.59. Лл.145-151 об., 182-183; Д. 109. Лл. 55, 190, 197; Д.121. Лл. 45-46, 155; Д.128. Лл.56-59, 103, 106.
- 132 Там же. Д. 37 Лл.310-314 об.; Д.44. Л.295; Д.59. Л.145-151 об.
- 133 Там же. Д.20. Лл.7-18.
- 134 Одоевский районный краеведческий музей. Краткие воспоминания А.В.Боголеповой. 1994. С.13-14.
- 135 Н.Г. Полетаев (1889-1935) больше был известен своими поэтическими строками о В.И.Ленине: «Портретов Ленина не видно: Похожих не было и нет, Века уж дорисуют, видно, Недорисованный портрет...»
- 136 Файджес О. Крестьянские массы и их участие в политических процессах 1917-1918 гг. // Анатомия революции. С.236-237.
- 137 РГАЭ. Ф.396. Оп.9. Д. 1 Лл.69, 281-282 об. Д.20. Лл. 32, 108, 235, 247. Д.27. Лл.87, 223-224. Д. 37. Л. 168. Д.44. Лл. 60-61 об., 290-291, 358-359, 410. Д.59. Лл.129-132, 312-313 об.; Д.109. Лл.29, 71-72, 188; Д.121. Лл.34-40 об., 115, 222-226; Д.128. Л.264.
- 138 Там же. Д.1. Лл.83, 150. Д.8. Лл.163, 292-293. Д.37. Лл. 98, 102-104 об., 310-314 об., Д.59. Лл.182-183, 312-313 об., 319-320 об., 327-328 об.; Д.109. Лл.16,18, 21-22, 55, 63, 215; Д.121. Лл.99, 158; Д.128. Лл.56-59, 120, 268.
- 139 Там же. Д.1.Л.679. Д.44. Л.213-214.
- 140 Там же. Д.1. Лл.449-550 об.,669-670; Д.59. Лл.230-231.
- 141 РГАЭ. Ф.396. Оп. 9. Д.1.Л.442-443 об.; Д.59. Л.328.
- 142 Там же. Д.1. Л.276 об., 328 об.
- 143 Там же. Д.1. Л.87; Д.44. Л.102.
- 144 1917 год в деревне (Воспоминания крестьян). М.,1967. С.19. Мы даем ссылку на второе издание воспоминаний (первое – в1927 г.). Отличия незначительны. Но важно, что и в 1927г., и в 1967 г. в главном официальные версии событий совпадают.
- 145 Там же. С.47, 103, 163, 174, 187.
- 146 См. об этом: Фрейд З.; History and Memory in African-American Culture. Ed. by G.Fabre and R.O'Meally. New York, Oxford. Oxford univ.press, 1994; Schudson M. The Present in the Past versus the Past

- in the Present. // Communication. 1989. Vol. 11. P.105-112; Uimonen P. Responses to Revolutionary Change. A study of Social Memory in Khmer Village // Folk. Kobenhaven. 1996. Vol.38. P.31-52.
- 147 См.: Nerone J. Op.cit. P.92.
- 148 Пятнадцатый съезд ВКП(б). Стенографический отчет. Т.II. М., 1962. С.1216-1217, 1244-1245, 1380.
- 149 См. об этом: Schudson M. Op.cit. P.105-112
- 150 См.: Иникова С.А. Советские праздники в русской деревне // В кн.: Российский этнограф. Вып.3. М.,1993. С.122-139.)
- 151 См.: Мурин В.А. Быт и нравы деревенской молодежи. М.,1926. С. 42.
- 152 Communication. 1989. Vol. 11. P.91.
- 153 Крестьяне о советской власти. С.17-18.
- 154 Там же. С.9-10.
- 155 Там же. С.13.
- 156 См., как рассматривался аналогичный материал на примере памяти кхмерских крестьян о режиме Пол Пота в статье Uimonen P. Responses to Revolutionary Change. A study of Social Memory in Khmer Village // Folk. Kobenhaven. 1996. Vol.38. P.31-52.
- 157 Крестьяне о советской власти. С.10, 60-148. См. подробнее: Козлов В.А. Культурная революция и крестьянство. С. 128-132.
- 158 РГАЭ. Ф. 396. Оп. 5. Д. 210. Лл. 99-103, 208. Оп. 5. Д. 3. Лл. 20, 32.
- 159 Там же. Д. 3. Л. 158; Д. 210. Лл. 241, 509.
- 160 Крестьяне о советской власти. С.49-59.
- 161 Там же. Лл. 241 об., 248.
- 162 Там же. Л. 241.
- 163 Там же. Лл. 738-741 об.
- 164 Там же. Л.45-46 об.
- 165 Столяров И. Указ. соч. С.65.
- 166 РГАЭ. Ф.396. Оп.5. Д.210. Л.501.
- 167 См. Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1989. С. 248-263.
- 168 Там же. Лл. 336-442.
- 169 Там же. Л. 872,
- 170 Крестьяне о советской власти С.198-201. РГАЭ. Ф. 396. Оп. 5. Д. 210. Лл. 1152, 1169, 1182, 1204, 1297.
- 171 Там же. Л.1017.
- 172 РГАЭ. Ф. 7486. Оп. 37. Д. 100.
- 173 Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. М.,1964. С.273.
- 174 Прежде и теперь. Рассказы рабочих, колхозников и трудовой интеллигенции о свой жизни при царизме и при Советской власти. М.,1938. С. 81- 84.

- 175 См.: Традиции и современность в фольклоре. М.,1988. С.50-51.
- 176 Опыт историко-социологического изучения села «Молдино». М.,1968. С.73.
- 177 Коллектив колхозников. Социально-психологическое исследование. Под ред. В.Н.Колбановского. Рук. Авт. Колл. И.Т.Левыкин. М.,1970. С.52-59.
- 178 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. С.156.
- 179 Бабашкин В.В. Крестьянский менталитет как системообразующий фактор советского общества // В кн.: Менталитет и аграрное развитие России(ХІХ-ХХ вв.). М., 1996. С.276-283; Берто Н., Малышева М. Культурная модель русских народных масс и вынужденный переход к рынку // Биографический метод. История, методология и практика. М., 1994. С. 94-145; Бордогов Г.А., Козлов В.А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории советского общества. М., 1992; Козлова Н.Н. Противоречия народной культуры и общественные отношения // В кн.: Перестройка общественных отношений и противоречия в культуре. М., 1989. С.56-72.
- 180 Прежде и теперь. С.81-84.
- 181 Сталин И.В. О проекте Конституции Союза ССР. М.,1936. С.12.
- 182 Роль исторической памяти крестьян о крепостном праве, барщине, об унижении человеческого достоинства в развертывании аграрной революции отмечали, в частности В.И.Ленин и Н.А.Бердяев.
- 183 Прежде и теперь. С. 88-96.
- 184 Там же. С.102-103, 105- 108, 129.
- 185 Там же. С.102-103, 105- 108, 129.
- 186 Озеров А. На Галичской земле. Кострома, 1948. С.31.
- 187 Цикото И.А. Как изменилась жизнь в селе Авдотьино за 30 лет. М.,1947. С.1.
- 188 Там же. С.7-10, 13-14.
- 189 Новины Марфы Семеновны Крюковой. М.,1939. С.189.
- 190 ГАРФ. Ф.А-628. Оп. 1. Дд.672, 673, 712, 752, 787.
- 191 Буянов И.А. Страницы жизни. . С. 242; Ефремов М. Моя жизнь.С.30-31; Новый мир. 1950. N 3. С.145.
- 192 Дорош Е. Деревенский дневник (1951-1955). М.,1963. С.42; Опыт историко-социологического изучения села «Молдино». С.283-284
- 193 Ефремов М. Моя жизнь. С.3-4.
- 194 См.: Столяров И. Записки русского крестьянина. Париж, 1986. С.43, 65-66.
- 195 Ефремов М. Моя жизнь. С.3-12.
- 196 Там же. С.13-15.

- 197 Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. С.273-276; Село Вирятино в прошлом и настоящем. С.132.
- 198 Ефремов М. Моя жизнь. С.15-31.
- 199 Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области.С.84; Коллектив колхозников. С.155, 200; Кораблино – село русское. М.,1961. С.61.
- 200 Опыт историко-социологического изучения села «Молдино». С. 83-84.
- 201 History and Memory in African-American Culture. Ed. by G.Fabre and R.O'Meally. New York, Oxford. Oxford univ.press, 1994. P.52.
- 202 Село Вирятино в прошлом и настоящем. С.105.
- 203 Архив ИЭА РАН. РЭЭ. Воронежский отряд 1952 г. № 2510. Л.101. См.: ОПИ ГИМ. Ф. 464. Оп.1.Д.1, 8.
- 204 Кораблино – село русское. С.13-14; Опыт историко-социологического изучения села «Молдино». С.65, 73, 81; Село Вирятино в прошлом и настоящем. С.26..
- 205 Опыт историко-социологического изучения села «Молдино». С.85-86.
- 206 Дневник тотемского крестьянина А.А.Замараева. 1906-1922. М.,1995. С.117; Ефремов М. Моя жизнь. С.6. РГАЭ. Ф.396. Оп.10. Д.29. Л.183.
- 207 Архив ИЭА РАН. РЭЭ. Воронежский отряд 1952 г. № 2510. Л.115-116.
- 208 Там же. С. 133-134, 145-147.
- 209 Там же. С. 149-167.
- 210 Там же. С.219-220.
- 211 Там же. С.189-190.
- 212 Там же. С.251-252.
- 213 Кораблино – село русское.С.162-163.
- 214 Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников Калининской области. С.376.
- 215 АИЭ РАН. РЭЭ. Калининский отряд. № 2503. Л.21.
- 216 Там же. С. 157. См. также: Село Вирятино в прошлом и настоящем. С.79.
- 217 Виноградский В. Российский крестьянский двор //Волга. 1995. NN 2-3.
- 218 Орлов А.Ключи успеха. М.,1932. С.8.
- 219 Голоса крестьян. Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах. М.,1996.
- 220 Кораблино – село русское. С.68.

- 221 Там же. С. 62-63.
- 222 Коллектив колхозников. С.201.
- 223 Село Вирятино в прошлом и настоящем. С.70-107.
- 224 Кораблино – село русское. С.140.
- 225 Село Вирятино в прошлом и настоящем. С.69-73.
- 226 Опыт историко-социологического изучения села «Молдино». С.98-104.
- 227 Отдел письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ). Ф.433. Оп.2. Д.2,3; ф.454. Оп.1. Д.27; ф.464. Оп.1.Д.1,8; ф.466. Д.1; ф.474. О.1.Д.5; Архив Института этнологии и антропологии РАН. Русская этнографическая экспедиции. Воронежский отряд 1951-1952 гг. № 2510; Калининский отряд 1958 г. № 2503, 2504, 2504а и др.
- 228 Там же. С.83, 232.
- 229 Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников в Калининской области. С.281.
- 230 Институт философии РАН. Отдел философии хозяйства. Архив Вологодской экспедиции 1996 года.
- 231 Цит. по: Димони Т.М. Социальный протест в колхозной деревне... С. 146-147.
- 232 Коллектив колхозников. С. 220, 244.
- 233 Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Культура и быт колхозников в Калининской области. С.280-285; Коллектив колхозников. С. 220, 244; Традиционный фольклор Владимирской деревни (в записях 1963-1969 гг.)М.,1972.С.85 .
- 234 Архив Института этнологии и антропологии РАН. Русская этнографическая экспедиции. Воронежский отряд 1951-1952 гг. № 2510; Калининский отряд 1958 г. № 2503, 2504, 2504а и др.
- 235 Вокруг раскрестьянивания //В человеческом измерении. М.,1989. С.132-134; Кожевникова К. Монолит // Литературная газета. 1990. 13 июня.
- 236 Зубкова Е.Ю. Мир мнений советского человека.1945-1948 гг. // Отечественная история. 1998. № 3.
- 237 Жунтова-Черняева Д. Вперед – воля и белый хлеб // Родина. 1994. N 6. С.44-49; Она же. «Новое поколение поймет, как мы страдали...» // Родина. 1994. N 7. С. 48-53.
- 238 См.: Бердинских В.А. Народ на войне. Киров, 1996; Попов В.П. Указ. соч.
- 239 См.: Ибрагимов Д.Х. НЭП и Перестройка. Массовое сознание сельского населения в условиях перехода к рынку. М.,1997.
- 240 «Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах». М., 1996. Как уже отмечалось, в 1990-1993 годах под руководством профессора Манчестерского университета Теодора Шанина был

- осуществлен российско-британский социологический проект «Изучение социальной структуры советского и постсоветского села». На основе обширного материала, собранного в более чем 20 селах России и была подготовлена книга, в которую вошли восемь семейных крестьянских историй, с точки зрения участников проекта — наиболее интересных и полных, записанных в разных районах.
- 241 Цит. по: Роговин М.С. Философские проблемы теории памяти. С.161.
242 См.: Там же.
243 Там же. С.10-40.
244 Там же. С.41-76.
245 Там же. С.135-193.
246 Гордон А.В. Крестьянство Востока. С. 77-78.
247 Там же. С.158.
248 Там же. С.38-39, 179, 249.
249 Там же. С.25-26, 35, 49, 206.
250 Там же. С.26,173.
251 Там же. С.24-25, 160-164.
252 Там же. С.19, 149-153.
253 Там же. С.155, 270-273.
254 Там же. С.15, 54, 204.
255 Там же. С.209-211.
256 Там же. С.150,167, 224-225.
257 Там же. С.77-134.
258 Там же. С. 233-309.
259 Там же. С.310-350.
260 Там же. С.351-396.
261 Архив Т.Шанина. Проект «Изучение социальной структуры советского и постсоветского села» (1990-1993). Тверь.
262 Там же. Север.
263 Там же. Тверь.
264 Там же. Север.
265 Там же
266 Там же. Тамбов.
267 Там же.
268 Там же. Север.
269 Институт философии РАН. Отдел философии хозяйства. Архив Тульской экспедиции 1998 г.
270 Архив Т.Шанина. Север.
271 См.: Клопыжникова Н.А. Современная аграрная реформа и настроения крестьянства //Свободная мысль. 1995. N 5. С. 13-26; Никольский С.А. Россия, год 2000... Конец крестьянства? // Октябрь. 1996. N 1. С.147-160.

- ²⁷² Институт философии РАН. Отдел Философии хозяйства. Архив Вологодской экспедиции 1992, 1993, 1996 гг.; Архив Нижегородской экспедиции 1993, 1994 гг.; Архив Орловской экспедиции 1994, 1995, 1996 гг.; Архив Подмосковной экспедиции 1992 г.
- ²⁷³ Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. Хрестоматия. Сост. Т.Шанин.М.,1992. 202-210.
- ²⁷⁴ См. подробнее: Кознова И.Е. Традиции и новации в поведении современных крестьян // В кн.: Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: Сб. статей. / Под ред. М.Б.Олкотт, В.Тишкова и А.Малашенко; Моск. Центр Карнеги. М., 1997. С.359-382.

Оглавление

Введение. Память и крестьянство	3
I. Память как поле состязания	36
1. Память земли	36
2. Память и индивидуальный выбор	50
3. Память как изобретение традиции	68
II. Крестьянство между памятью и историей	86
III. «Живая история» – память традиционная и современная	114
1. Крестьянское. Крестьянское?	114
2. Образы прошлого: «здесь и сейчас»	147
Заключение	182
Примечания	193

Научное издание

Кознова Ирина Евгеньевна

**XX ВЕК В СОЦИАЛЬНОЙ ПАМЯТИ РОССИЙСКОГО
КРЕСТЬЯНСТВА**

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

В авторской редакции
Художник *В.К.Кузнецов*
Технический редактор *Н.Б.Ларионова*
Корректоры:

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 00.00.99.

Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл.печ.л. 6,47. Уч.-изд.л. 8,35. Тираж 500 экз. Заказ № 000.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор:

Компьютерная верстка: *Ю.А.Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119842, Москва, Волхонка, 14